

Войнович



Малиновы
ПЕЛЛКОН

Annotation

Император Николай I во время представления «Ревизора» хлопал и много смеялся, а выходя из ложи, сказал: «Ну, пьеска! Всем досталось, а мне — более всех!» Об этом эпизоде знает каждый школяр. Всякий, считающий себя умным, прочитав «Малинового пеликана» В. Войновича, много смеяться не будет, но скажет: «Ну, роман! Всем досталось, а мне — более всех!» И может быть, после этого в российской жизни действительно что-то изменится к лучшему.

- [Владимир Войнович](#)

-
- [Клещ](#)
- [Немного о себе и не только](#)
- [Федор и Александра](#)
- [Тоцк не берет](#)
- [В поисках стерильности](#)
- [О смысле жизни](#)
- [Жизнь напрокат](#)
- [Ленинский путь](#)
- [Страдалец](#)
- [Тот же бред](#)
- [Рекорды и антирекорды](#)
- [Сколько стоит один миллиард](#)
- [Над чем вы сейчас работаете?](#)
- [Клещи со спутников](#)
- [Секретный птичник](#)
- [Иван Иванович](#)
- [Кто думает, что живет хорошо, живет хорошо](#)
- [Живее всех живых](#)
- [Стали называть его Перлигосом](#)
- [Мы и гренки](#)
- [Второй Иван Иванович](#)
- [Третий Иван Иванович](#)
- [Делают вид, что живут](#)
- [Бред реальности](#)
- [О любви, браке и любви вне брака](#)

- [Haus der Dummen, или Дом дураков](#)
 - [Where are you from](#)
 - [Смешанный бред](#)
 - [Пробка и малиновый пеликан](#)
 - [Американская оккупация и вялотекущая шизофрения](#)
 - [Прогулка](#)
 - [Цена вопроса](#)
 - [Видение](#)
 - [Человек прозрачный, как стекло](#)
 - [Доктор Клещ](#)
 - [Клещ](#)
 - [Изделие № 2 и призывы к действию](#)
 - [Революция](#)
 - [В приемной Перлигоса](#)
 - [Незабываемая встреча](#)
 - [В обществе пеликано-людей](#)
 - [Заседание высшего органа](#)
 - [Великая черенковая революция](#)
-

Владимир Войнович

МАЛИНОВЫЙ ПЕЛИКАН

© Войнович В., 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

Клещ

Был в лесу. Собирал грибы. Вернулся домой, поел, поспал, посмотрел телевизор, вечером на животе справа что-то засвербило. Почесал, забыл, опять засвербило, напомнило. Около полуночи, отходя ко сну, решил поглядеть в зеркало. Батюшки! Круглое пятно сантиметров на пять в диаметре вроде трехцветной красно-оранжево-желтой мишени, и прямо «в десятке» — черная жирная точка. Пригляделся — точка-то живая, лапками шевелит. Клещ!

Будучи наслышан о неприятностях от встречи с этим паразитом, о вероятных фатальных последствиях с летальным исходом, я полез в Интернет и тут же обогатился многими устрашающими знаниями о клещевом энцефалите и болезни Лайма (она же боррелиоз — не путать с композитором Берлиозом и его булгаковским однофамильцем). Помимо этих двух, о которых слышали все, есть бабезиоз, риккетсиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз и еще всякая дрянь. Но к себе я примерил, как самые страшные, первые две (напоминаю): энцефалит и боррелиоз. Ознакомился с симптомами: сильная головная боль, рвота, светобоязнь, температура до сорока, и это только начало. В другом случае на пути к летальному пределу могут наблюдаться лихорадка, гиперемия зева, склер кожных покровов, диспепсические расстройства, парезы и параличи шеи, верхних конечностей, свисание головы на грудь. Я, признаюсь, человек мнительный. Когда слышу о возможности каких-то симптомов, немедленно их замечаю. Если кто-то говорит, что у меня необычно красное лицо и не признак ли это повышенного давления, оно, давление, немедленно у меня поднимается до предполагаемого уровня. Или опускается, если заподозрить, что оно пониженное. Попробуйте скажите при мне что-нибудь про эпидемию гриппа, и мой организм сразу откликнется кашлем, чихом и подскоком температуры. Сейчас, если я не обнаружил у себя признаков гиперемии зева и склер и диспепсического расстройства, то только потому, что не понял, что это значит. Если бы понял, они были бы тут как тут. А вот света, мне показалось, в доме слишком много, и свисание головы на грудь — это со мной сразу случилось. Едва я эту гадость увидел, так она, голова то есть, сразу и свисла. Углубляться дальше в симптомы я не стал, перешел к инструкции, как от незваного гостя избавиться. Способ вроде простой. Приложить ватку с постным маслом, подержать минут пятнадцать, паразит начнет

задышаться и полезет наружу. Я приложил. Через пятнадцать минут он не вылез. И через тридцать и через сорок оставался, где был. Выносливый оказался. Может быть, даже чемпион среди клещей по выносливости, достойный занесения в Книгу рекордов Гиннесса.

Между прочим, чтоб вы представляли себе, хотя бы в общих чертах, хронологию, уточню, что история эта с клещом завершилась на днях, а началась... Черт ее знает, когда она началась, тогда еще, когда все у нас было тихо-мирно, страна готовилась к грядущей Олимпиаде, мы медленно, с хрустом в суставах, разгибали колени, поддерживали добрые коммерческие отношения с соседними враждебными братскими странами и легко размещались на завоеванных ранее территориях. Если бы я мог предвидеть, что случится позднее, то, вероятно, писать про мелкого насекомого не стал бы, но время было еще мирное, без заметных событий и потому скучное, так что даже замыслы сколько-нибудь острые в голову никому не приходили и вся литература чахла ввиду практического отсутствия сюжетов. Скажу больше, в описываемое время жизнь казалась настолько благополучной, что потребность в мало-мальски серьезной литературе совершенно отпала. Несчастливы люди, которые всегда счастливы. И несчастливы писатели, которые живут среди счастливых людей. А сатирики тем более. Я допускаю, что если бы Салтыков-Щедрин воскрес и пожил немного среди нас, тогда еще относительно счастливых, то, осмотревшись и не найдя ничего интересного, он охотно вернулся бы в тот мир, в котором уже обвыкся. Я тоже в ту пору не видел вокруг себя никаких достойных тем и по этой причине сосредоточился на этом злосчастном клеще, имея то оправдание, что он хоть и маленький, но беспокойство причинил мне заметное. Тем более что само по себе событие внедрения его в мое тело стало для меня редким в последнее время физическим соприкосновением с реальной жизнью.

Дело в том, что, когда мне было лет намного меньше, чем сейчас, я вел подвижный образ жизни. Зимой жил в городе, летом в деревне, много ездил по России, бывал на заводах, в колхозах, бродил по тайге с геологической партией, наблюдал работу золотоискателей на Колыме, плавал в Охотском море на дырявом рыболовном сейнере, побывал в Антарктиде и вообще слыл одним из первых знатоков российской действительности. Но настал момент — от жизни, как говорят, оторвался.

Возраст, лень, болезни, угасание энергии, интереса к путешествиям, людям и географии, а также оскудение материального фактора привели к тому, что я стал домоседом.

Сижу на даче. В город выезжаю редко, в случаях крайней

необходимости. Практически ни с кем не общаюсь, кроме жены, домработницы Шуры и совсем уж редко с кем-нибудь из соседей, когда выхожу прогулять собаку. Когда-то я думал, что запаса накопленных мною жизненных впечатлений мне для моих писаний на всю жизнь хватит, но запас оказался не столь объемным, как я ожидал, а жизнь получилась длиннее, чем я рассчитывал, и вдруг настал день, когда я, державший в голове сотни сюжетов, вдруг обнаружил, что просто не знаю, о чем писать. Потому что замкнулся дома, не хожу даже в магазин и не знаю, что почем. Сотни человеческих историй, которые знал, из памяти утекли, тысячи впечатлений потускнели, а новым взяться откуда? Из телевизора. Днем как-то работаю, а вечером сижу перед «ящиком», и все свежие знания у меня из него. Так же, как у моей высокообразованной жены и домработницы, не осилившей семилетку. Все мы знаем всё про Галкина, Пугачеву, Киркорова, Малахова, Безрукова, Хабенского и прочих телеведущих, певцов, сериальных актеров, олигархов, их жен и любовниц. Кто с кем женился, развелся, купил дом на Лазурном Берегу или арестован за кражу в особо крупном размере. И не только я не знаю теперешней реальной жизни. Ее не знает никто. Раньше неизменной приметой городского пейзажа были бабушки, которые сидели на лавочках перед домом, замечали всех входивших и выходивших и обсуждали соседей, кто что купил, в чем одет, кто пьет, бьет жену, чью жену, когда муж в командировке, посещает любовник. Теперь такое ощущение, что ни у кого в стране собственной жизни нет, все сидят перед «ящиком», следят за судьбами героев мыльных опер, завидуют их удачам, сочувствуют неудачам и переживают за них больше, чем за себя. Вот и я, как и большинство моих сограждан, сижу вечерами, тупо уставившись в ящик, живу в нем, жил бы и дальше, если бы не этот проклятый клещ.

В половине второго ночи я разбудил и позвал на помощь Варвару, жену. Говорю: давай, помогай, вытаскивай. Она ничего подобного в жизни не делала, и по телевизору в медицинской передаче доктора Гольшевой ей не показывали. Взяла пинцет, надела очки, руки дрожат, как будто ей предстоит не удаление мелкого насекомого, а полостная операция. При том что она не только медицинского образования не имеет, но от капли крови, взятой на анализ из пальца, падает в обморок. Так вот она тыкала, тыкала в эту тварь пинцетом, потом я сам в нее тыкал, а она как была там, так и осталась, хотя, надеюсь, мы ей какие-то неудобства все-таки причинили. Вроде тех мужиков из анекдота, которые по просьбе соседки пытались зарезать свинью и в конце концов зарезать не зарезали, но отлупили от души.

Подняли с постели Шуру, но она и вовсе. Как глянула, так руки воздела:

— Не-не-не.

Я спрашиваю;

— Что не-не-не?

— Я его боюсь.

— Кого его?

— Да этого. — Она, не опуская рук, глазами мне на него указывает.

Я говорю ей:

— Да чего ж ты его боишься? Ты ж в деревне жила, курам небось головы рубила?

— Курам, — соглашается, — рубила. А это ж не курица, это же это...

А что «это» — сформулировать не может, но ясно, что-то ужасное.

После Шуры проснулся спавший в прихожей на коврикe Федор и вошел в комнату, широко зевая и покачивая лохматой головой. Внимательно нас всех оглядел, не понимая, чем вызван столь поздний переполох, ничего не понял, вспрыгнул на диван, вытянулся во всю длину, положил морду на передние лапы и стал ожидать, что будет дальше. Федор — это наш эрдельтерьер, недавно отметивший свое шестилетие.

Отстранив женщин от дела, я сам взялся за пинцет, но опять действовал неловко и ничего не добился, разве что вмял насекомое в себя еще глубже, чем оно сидело до этого. Пока я трудился, Варвара набралась смелости и разбудила по телефону знакомого доктора. Тот, зевая в трубку, сказал, что раз мы этого клеща сразу не вытащили, дальнейшее можно доверить только специалистам. Потому что если неспециалист оставит во мне хотя бы мелкую часть этой пакости, от нее можно ожидать самых печальных последствий, вплоть до упомянутых выше. А дело происходит в ночь с субботы на воскресенье. Это у нас с Варварой всегда такое везенье: все неприятности случаются именно в ночь с субботы на воскресенье, когда никто нигде не работает, а знакомые врачи выключают свои мобильные телефоны и пьют: терапевты — принесенный с работы спирт, а хирурги — подаренный пациентами французский коньяк. Варвара говорит, надо вызывать «Скорую». Я попробовал возразить, но потом согласился условно, предполагая, что «Скорая» из-за клеща не поедет, но может дать полезный совет. Обычно, сколько я слышал, эта самая «Скорая», прежде чем выедет, задаст вам сто вопросов по делу и бессмысленных, что болит, где и как, холодеют ли ноги, синеют ли руки и сколько больному лет, в том смысле, что, может, пожил и хватит, стоит ли ради него зря жечь бензин, да и на пенсии государство уже перетратилось.

Немного о себе и не только

Если вы ничего не знаете обо мне, я вам кое-что расскажу. Меня зовут Петр Ильич Смородин, это мой псевдоним, а настоящую мою фамилию Прокопович знают немногие. Среди них наша почтальонша Заира, которая в начале каждого месяца приносит мне пенсию, и кассирша «Аэрофлота» Людмила Сергеевна, у которой я раньше покупал билеты в Берлин, куда летал к своему сыну Даниле. Много лет я пользовался ее услугами, расплачиваясь дополнительно своими книжками и набором конфет, а теперь покупаю билеты онлайн. К моему возрасту люди обычно тупеют и новыми технологиями овладевают с трудом, но я себя считаю пользователем компьютера, как говорится, продвинутым. Лет тридцать с лишним тому назад в Америке я купил свой первый Макинтош, он назывался Мак-плюс (экран размером с сигаретную пачку), и с тех пор силюсь идти в ногу со временем, чем вызываю презрение моего соседа по даче, одного из последних ископаемых деревенщиков моего поколения Тимофея Семигудилова, фамилию которого его же соратники слегка переиначивают, заменяя букву «г» другой, с которой начинается слово «мама». Тимоха считает, что настоящий писатель должен писать только «перышком», имея в виду шариковую ручку. Своей дремучестью он весьма гордится и уверен, что только пишущий от руки может считать себя хоть в какой-то мере принадлежащим к настоящей русской литературе. Достижения Пушкина и Тургенева объясняет тем, что они писали гусиным пером, а на компьютере ни «Евгения Онегина», ни «Бежин луг», по его разумению, не напишешь. Ко всем этим рассуждениям добавляет, что через компьютер идут флюиды (почему флюиды?) от дьявола, а у пишущего «перышком» есть прямой контакт с Богом, хотя у него самого, я подозреваю, если был контакт с чем-то далеким, то через коммутатор, установленный на Лубянке. Что же до компьютера, то я думаю, что и Пушкин, и Тургенев охотно бы им овладели, но в любом случае техническая тупость еще не признак литературного таланта, что опыт нашего деревенщика как раз и подтверждает. Он пишет тяжело, неуклюжим языком. Прошел большой путь. Был когда-то образцовым советским писателем. Писал о преуспевающих колхозах и считался средней руки очеркистом. Тридцать лет был членом КПСС и половину этого времени секретарем партийной организации. Всегда демонстрировал бесконечную преданность советской власти, за которую, как говорил, готов отдать свою

жизнь и задушить любого, кто был о ней не очень хорошего мнения. Будучи еще, как и я, студентом Литинститута, принял участие в травле Пастернака. И тем обратил на себя внимание власти. В семидесятые годы выискивал среди собратьев по перу инакомыслящих, охотно участвовал в гонениях на них и был весьма кровожаден. В восьмидесятых, почувствовав, куда ветер дует, переквалифицировался в деревенщики, стал писать повести о коллективизации и разорении большевиками русской деревни, тогда советская власть подобное вольнодумство уже допускала. Большевики у него были сплошь с фамилиями, намекавшими на их еврейское происхождение. Писал по-прежнему неуклюже, но, как тогда многим казалось, остро, чем снискал временную репутацию правдолюбца и даже скрытого антисоветчика. Но когда советская власть зашаталась, очень рьяно ее защищал, показав тем самым, что ему, как говорил Бенедикт Сарнов, в литературе без поддержки армии, флота и КГБ делать нечего. В девяностые, которые он называет лихими, ненадолго притих, съезжился, где-то кому-то шепотом объяснял, что всегда втайне был либералом, и в доказательство где-то что-то цитировал из своих антиколхозных опусов, но при передаче управления страной (вместе с ядерным чемоданчиком) нашему сегодняшнему Перлигосу (Первому лицу государства) воспрянул духом, объявил себя православным патриотом и теперь яростно клеймит американцев и либералов, восхищается достоинствами Держателя чемоданчика и, по всем признакам, помешался на мечте о православно-державном величии. И в его больной голове каким-то образом сочетаются представления о том, что страна, стараниями заокеанских политиков и наших либералов, лежит в руинах, но и одновременно поднимается с колен, возрождается из пепла и еще покажет всему миру кузькину мать.

Когда-то Твардовский, с которым я был в молодости знаком, говорил, что человеку называть себя самого писателем нескромно, потому что звание «писатель» предполагает наличие в человеке специфических незаурядных способностей, которые в совокупности называются талантом. И в самом деле, в прежние времена тот круг людей, которых называют читающей публикой, так и воспринимали писателя, как существо, наделенное необыкновенным и даже сверхъестественным даром проникать в душу человека, понимать его стремления, переживания, страдания, тайные побуждения и все такое. Но теперь это все ушло в прошлое и писателем называют чуть ли ни каждого, кто пишет дешевые детективы, душещипательные простенькие истории и даже какие-нибудь брошюры, конспекты политических речей, рекламные тексты. Все они писатели. Поэтому теперь я, прикладывая к себе это звание, ни малейшего смущения

не испытываю. Да и как представлять мне себя, написавшего двенадцать романов, шесть сценариев, четыре пьесы и сотни мелких литературных текстов? Я член Союза писателей, член Пен-клуба, член еще каких-то жюри, комитетов, редсоветов и редколлежий, где чаще всего просто числюсь в качестве свадебного генерала без всяких обязанностей и вознаграждений. Кроме того, состою в двух иностранных академиях, являюсь почетным доктором трех университетов и лауреатом десятка премий. Теперь меня почитают, называют иногда даже классиком, и романы мои в книжных магазинах стоят в разделе «Классическая литература». Но было время, когда я считался диссидентом, отщепенцем, врагом народа, меня преследовали люди, имен которых давно никто не помнит, говорили, что я пишу книги по заданию ЦРУ и Пентагона (а теперь бы сказали Госдепа), что книжонки мои ничего не стоят и сгниют вместе со мной или даже раньше меня на свалке истории. На меня нападали могущественные силы, грозили всякими карами, иногда даже и смертью, и все это я пережил и выжил, а для чего? Не для того ли, чтобы стать жертвой этого маленького ничтожного членистоногого насекомого?

Федор и Александра

Чтобы дорисовать картину о себе и своей семье, к вышесказанному добавлю вот что. Мои дети от первого брака, сын Данила и дочь Людмила, выросли и разъехались в разные стороны. Он в Берлине сменил журналистику на бизнес, владеет большой автотранспортной конторой, гоняет фуры в Россию, Белоруссию, Украину и Казахстан и очень неплохо зарабатывает, а дочь вышла замуж за успешного американского адвоката, или, как она говорит, лойера, и живет в городе Лексингтон, штат Кентукки, или, опять же, как они говорят, Кентакки. Теперешняя моя семья — это я, жена Варвара, домработница Шура и, разумеется, Федор. Семигудиллов считает, что пса я так назвал из русофобских соображений, потому что, как ему кажется, только человек, который ненавидит русских или презирает, может давать собакам русские человеческие имена. Хотя это глупость несусветная, потому, во-первых, что имя Федор, а также Теодор, греческого происхождения и означает «Божий дар», и потому, во-вторых, что никакие не русофобы, а самые что ни на есть русские люди издавна называли котов Васьками, коз Машками, а кабанов Борьками. А пес получил такое имя, потому что он, как мне кажется, похож на моего двоюродного брата Федьку, который так же толст, добр и курчав и на существование четвероногого тезки не обижается. Федор (не брат, а пес) обладает сверхчутьем на мое приближение. Когда я возвращаюсь из города, он чувствует это заранее, проявляет заметное беспокойство, если удастся, убегает со двора и несется к шлагбауму у въезда в поселок, чтобы встретить меня. Каким-то образом отличает мою машину от других и семенит за ней, виляя куцым хвостом.

— Как он узнает вашу машину? — удивляется Шура.

— По номеру, — отвечаю.

— Да ну! — восклицает она, но, будучи об интеллектуальных способностях Федора высокого мнения, склоняется к тому, чтобы поверить.

Шура оказалась у нас, когда сбежала из тамбовской деревни, где ее всю жизнь били. Сначала за любую провинность и просто для остротки порол ремнем пьяный отец, потом за то, что оказалась бесплодной, кулаками воспитывал муж, тоже пьяный. Время от времени он «зашивался» и не пил, но тогда становился злее и бил еще больше. Шура все терпела, не представляя себе даже, что может просто уйти, но ей повезло: однажды муж ее, пьяный, попал под автобус. Но к этому времени подросток и тоже стал

ее поколачивать зачатый по пьянке сынок Валентин, от которого она и сбежала, оставив ему все, что у нее было, включая дом и корову. О сыне она говорить не любит, но мужа вспоминает с ненавистью и благодарит шофера того автобуса, который его задавил.

Появившись у нас, она поначалу вела себя очень робко, боялась задать лишний вопрос и показать, что чего-то не знает. Первым ее заданием было приготовить нам с женой завтрак. Накануне вечером Варвара велела ей сварить два яйца в мешочек. Утром мы встали, завтрака нет, нас встречает Шура, растерянная, и сообщает, что всю кухню обшарила, но мешочков нигде не нашла.

В конце концов она у нас прижилась, отмякла, но от старых страхов долго не могла избавиться. Бывало, я просто позову ее: «Шура!» — она вздрагивает, смотрит на меня, и я вижу в глазах ее страх, Бойтса, что что-то сделала не так и сейчас будет физически наказана. Иногда, впрочем, боится не зря. Однажды, войдя к себе в кабинет, я застал ее за тем, что она, встав на стул, мокрой половой тряпкой пыталась протереть висевшую над моим столом картину Поленова «Заросший пруд», не оригинал, конечно, но очень хорошую.

— Ты что делаешь?! — закричал я.

Она медленно сползла на пол, бледная, глядела на меня обреченно, и губы ее тряслись.

Годы спустя, уже больше ко мне привыкнув, она призналась, что думала, что я ее буду бить.

Шура живет у нас уже больше шести лет. Мы ей выделили комнатку на втором этаже с отдельным туалетом и душем. Там она поставила себе тумбочку с настольной лампой. На тумбочке у нее иконка, на стене литография — какой-то замок и пруд с лебедями. Мы отдали ей старый телевизор, она смотрит его в свободное время. Ее любимые передачи прежде были «Модный приговор» и «Давай поженимся», но с недавнего времени она стала проявлять интерес и к политическим ток-шоу, которые смотрит, но отношения к ним как будто не выражает. Вообще она тиха, неразговорчива, аккуратна. Личной жизни у нее, кажется, никакой нет. Ходит гулять с Федором. С некоторых пор стала посещать церковь. Ее отец был, как выяснилось, членом КПСС и даже секретарем совхозного парткома, но тайком сам крестился и крестил детей, что не мешало ему по-прежнему много пить и истязать своих близких.

Я с Шурой борюсь, потому что она всегда пытается навести у меня свой порядок, переставляет мои вещи, в мое отсутствие складывает мои бумаги так, что потом я не могу разобраться, где что, и отучить ее от этого

нет никакой возможности.

Прежняя наша домработница Антонина постоянно вмешивалась в наши с женой разговоры. О чем бы мы ни говорили — о жизни, политике, экономике, литературе, обо всем она имела свое мнение, которое, впрочем, всегда совпадало с моим. Эта же никогда не вмешивается, только слушает, как мы обсуждаем какую-нибудь книгу, фильм, театральную постановку, телевизионную передачу, перемываем косточки знакомым, ругаем власть или ругаемся сами. Слушает, иногда усмехается какой-то своей мысли, но в разговор не вступает.

Я вообще думал, что она ни о чем своего мнения не имеет, но однажды, заглянув в ее комнату, увидел у нее на тумбочке рядом с иконкой, изображающей Божью мать с младенцем, стоит такого же размера фотопортрет Перлигоса. Естественно, я не удержался, спросил, откуда, мол, и зачем.

— А что, нельзя? — спросила она.

— Да пожалуйста, но зачем он тебе?

— Но он же хороший.

— А чем он хорош?

— За Россию болеет.

В другой раз я увидел у нее на тумбочке книжку Гарольда Евсеева, известного нашего «патриота», «Истоки российского жидо-масонства». Когда я спросил, кто дал ей эту дрянь, она сказала: Семигудилов.

А я-то сомневался, что она умеет читать.

Мне это не понравилось, и я сказал Варваре, что домработницу пора поменять.

Но Варвара стала решительно на защиту Шуры, убеждая меня, что она просто дура, но честная дура. Антонина у нас слегка подворовывала, а эта пока ни в чем таком не замечена. Свои обязанности выполняет, в доме всегда чисто, окна вымыты, белье выстирано, обед приготовлен, а ее взгляды не имеют никакого значения, тем более что на самом деле никаких взглядов у нее нет.

Тоцк не берет

Если, как утверждает статистика, средняя продолжительность жизни в нашей стране 64 года, то несправедливо кому бы то ни было слишком превышать этот предел. Да, конечно, я работал, что-то делал полезное или вредное (это как посмотреть), но сколько же государству можно со мной расплачиваться?! Так что, если предположить, что «Скорая помощь» соблюдает государственный интерес, ей лучше не торопиться. Однако и молодость не причина, чтоб поспешать. К моему соседу, тридцатилетнему бизнесмену Кольке Федякину, когда у него случился инсульт, не ехали, потому что он взывал о помощи заплетавшимся языком, и фельдшер, принимавший звонок, посоветовал не хулиганить, проспаться, а утречком выпить рассолу. А он утречком советом не воспользовался, потому что мертвые рассол не пьют. А дяде Федякина Борису Евсеевичу, когда он лежал с сердечным приступом, предлагали: прежде, чем зря беспокоить занятых людей, принять валидол или нитроглицерин, положить на грудь грелку, наклеить горчичники, попарить ноги. А тут Варвара набрала 03, и там, к моему удивлению, лишних вопросов задавать не стали и возражать не потрудились. Не прошло и получаса, как машина с крестами на влажных боках, огласив окрестности завыванием сирены и осветив их синими всполохами, влетела во двор. Сам факт, что она так скоро прикатила, убедил меня в том, что те, кто послал машину, считают дело заслуживающим ее послания. На пороге появилась молодая белокурая женщина в голубой куртке с надписью на спине «скорая помощь» и молодой человек, высокий, с короткой стрижкой и бессмысленно-иронической улыбкой на плоском лице.

— Ой, — сказала женщина, — какой у вас красавец! — и потрепала по холке доверчиво подошедшего к ней Федора. — Нечего сказать, хорош. И сразу готов дружить. Чует, что от меня собакой пахнет?

И прежде, чем поинтересоваться причиной вызова, рассказала, что у нее тоже есть собака пудель, беспородная кошка, муж Ваня и двое детей младшего школьного возраста. Сообщила, что имя-отчество ее Зинаида Васильевна, но муж, свекор и все остальные зовут ее просто Зинуля. Наконец вспомнила, зачем она тут:

— Так у кого здесь что случилось?

Мы наперебой стали объяснять. Несмотря на суммарную сбивчивость, она все поняла. Осмотрела мой живот, потрогала — мизинцем с ногтем,

наманикюренным и остро заточенным, как будто специально подготовленным для вытаскивания клещей. Я подумал, что она сейчас же этот природный инструмент и употребит в дело. Но она пальчик отвела, а клещом восхитилась, как до того собакой:

— Ой, какой аферист! Супер! И как же ты туда, паразит, залез? И вылезать, наверное, не хочешь. А зачем? Тепло тебе там, уютно, сытно. Ну, ничего, — пообещала, — у нас не засидишься.

И говорит уже не клещу, а мне:

— Ну что ж, собирайтесь, поедem в больничку.

— Зачем? — удивился я.

— Ну а как же. Вы же не хотите умереть от энцефалита.

— Не хочу.

— Значит, надо ехать.

— Но почему ехать? Разве вы не можете сделать что-то на месте?

— А что именно?

— Ясно что. Вынуть клеща. Это что, такое сложное дело? У вас же, наверное, есть для этого медицинское образование, опыт.

— Все у меня есть, я фельдшер со стажем. Не врач, но тоже кое на что способна. Но вот стерильных инструментов у меня нет. А без стерильных инструментов такие вещи не делаются. Вы со мной согласны?

Я был согласен, но посмел выразить недоумение.

— А что, стерильные инструменты — разве это проблема?

— Ну конечно, проблема, вы же не хотите умереть от заражения крови. Мне кажется, даже и в вашем возрасте это не очень приятно. Вы со мной согласны?

Я опять согласился, что и от заражения крови умереть не хочу. Если правду сказать, я вообще-то ни от чего не хочу, хотя понимаю, что отчего-то все же придется. Но желательно в другой раз. Хотя в другой раз желательно тоже не будет.

— Но все-таки, — попробовал я рассуждать логично, — если у вас с собой нет никакого стерильного инструмента, давайте обойдемся домашними возможностями. Возьмем простую иглку, прокипятим, вот вам и стерильный инструмент.

— Ну это правильно. Иглку вы прокипятите. А полы, стены и потолки тоже прокипятите? Стерильную обстановку создать сумеете?

— То есть чтобы вокруг чистота была? Так у нас вроде бы и не грязно.

— Чистота — это еще не стерильность. Попробуйте пальцем по полу проведите, суньте его под микроскоп, и там такое увидите, что в обморок упадете.

Я предположил, что с микроскопом везде что-нибудь найдешь.

Она согласилась: везде, но не то и не в такой пропорции. Если в настоящей операционной...

— Да при чем тут операционная, — сказал я, теряя терпение. — Мне же не операцию, а всего-навсего вынуть клеща.

Но и она стала раздражаться.

— Это вам кажется, всего-навсего клещ. Микроб в тысячу раз меньше, а попадет в ранку — и заражение крови. И что после этого? После этого вы на кладбище, я в тюрьме, а мои дети где? В детдоме. Они ж у меня от первого мужа, а этот с ними возиться не станет. Нет, не то чтобы это... Он их любит, пока со мной. Но встретит другую женщину — и сразу вспомнит, что детишки-то не его. Вот и отдаст в детдом. А там их американцам продадут на расчленение. Закон запрещает, а им все равно продают. Нелегально. Через Белоруссию перевозят. Вы думаете, они так, что ли, охотятся за нашими детьми? Потому что такие добрые? Ага, добрые. У них сейчас, слышали? Продолжительность жизни выросла почти до ста лет. А за счет чего? Три вещи (стала загигать пальцы): сбалансированное питание, стволовые клетки и трансплантация. Американцы, они люди рационально мыслящие. Вы со мной согласны? Для них здоровый русский ребенок — это комплект запчастей. Это как автомобиль, понимаете? Умелые люди крадут, разбирают и потом по частям продают. Кому тормозные колодки, кому карбюратор, шины, свечи или что еще. Так мы едем или ждем симптомов энцефалита? У вас головка не кружится? В глазах не двоится?

Естественно, мне сразу показалось, что кружится и двоится.

— Значит, и обсуждать нечего, — заключила она и, достав из сумки специальный мобильный телефон величиной с мужской ботинок, стала звонить в какую-то инстанцию и объяснять негромко:

— Да клещ! Есть покраснение и припухлость. Больной жалуется на ощущение зуда, головокружение, двойное зрение и тошноту.

Про тошноту это она от себя прибавила, но как только прибавила, так мне сразу показалось, что меня и подташнивает.

Я анализировал свои ощущения, а она отошла в угол и еще в свой мобильник шептала, прикрывая его пухлой ладошкой, что-то, очевидно, такое, что не для моих ушей. Это меня насторожило, но все-таки я еще ожидаю, что ей скажут, мол, чепуха, не морочьте голову, сделайте то-то и то-то и примите новый вызов. Ей ничего такого, видимо, не говорят, значит, к тому, что она нашептала, отнеслись с должным вниманием. Закончив разговор с инстанцией, фельдшерица сообщила, что меня готовы принять в

«Склифе», то есть в больнице имени профессора Склифосовского, куда везут людей с ножевыми и огнестрельными ранами, самоубийц, отравившихся грибами, обварившихся кипятком, обгоревших в пожаре, свалившихся с крыш, смятых в автокатастрофах, вырезаемых из железа и собираемых по кусочкам. И меня с какой-то букашкой в животе туда же? С одной стороны, неудобно с такой чепухой, а с другой стороны, если везут, значит, не чепуха. Но, представляя, что от меня до Склифосовского не меньше сорока километров, я поинтересовался, а нельзя ли куда поближе. Например, в Тоцк, вот он рядом, а в нем есть замечательная больница.

— Ой, какой же вы капризный! — вздохнула она и стала опять звонить. — Але, але, они в «Склиф» не хотят, они хотят в Тоцк. — Мне: — Сейчас наш диспетчер звонит в Тоцк. — Диспетчеру: — Але, але. Что, нет? — Мне: — Тоцк вас не берет. У них больница академическая. Берут только академиков, профессоров, докторов наук. Но вас могут принять в Запольске.

Водитель за все это время не сдвинулся с места. Стоял у двери все с той же ничего не выражающей глупой ухмылкой и крутил на пальце связку ключей.

В поисках стерильности

Я, конечно, оскорбился, что Тоцк меня не берет. Я, по их мнению, не академик. Я ничего доказывать не захотел. Хотя в некоторой степени я все-таки академик. В двух, как сказано выше, иностранных академиях состою и в одной нашей в качестве почетного члена. Но что доказывать? Тоже мне академическая больница! Я понимаю, когда есть клиники онкологические, педиатрические, психиатрические, ветеринарные по видам болезней или животных. А тут настроили всяких лекарен, отдельных для академиков, для министров, для космонавтов, для судей, для прокуроров или еще кого. Как будто эти, которым для, не из таких же частей, как мы, состоят или болезни у них особенные, академические, министерские, прокурорские. Единственное у них профессиональное заболевание — геморрой. У нас государство, каким было советское, таким и это осталось, — сословно-иерархическое. Одним все, другим поменьше, третьим шиш. Конечно, за Тоцк я мог бы еще побороться, куда-нибудь позвонить, написать жалобу, выложить в Интернет, но пока буду этим заниматься, энцефалит разовьется... Так что там еще? Запольск? А он не академический. И разве он не дальше, чем «Склиф»? Фельдшерица охотно согласилась:

— Ну и правильно, в Запольск ехать не стоит, тем более что стерильности они тоже не обеспечат. Какая там стерильность? Там вот такие тараканы по стенам бегают. А в «Склифе» стерильность. И еще специально обученный персонал, нужное оборудование и лаборатория. Они вашего клещика аккуратненько извлекут и сразу в лабораторию на анализ, а вам сделают инъекцию. И, бог даст, живым останетесь. Если даже и будет небольшое повреждение мозга, это не страшно, у нас вся страна с поврежденными мозгами живет. Вы со мной согласны?

Когда такие перспективы, мне что остается делать?

Ладно, говорю, поехали. Зинуля обрадовалась, как будто я к ней на именины наладился. Я потом подумал, что это ей для чего-то было надо именно в тот район попасть, вот она меня этим направлением и соблазняла. А соблазнивши, обрадовалась.

— Паша, — говорит шоферу, — давай!

Федор, пользуясь общим замешательством, первым вскочил в машину, но, будучи изгнан, обиделся и вернулся в дом не обернувшись. Шурочка, провожая нас, всплакнула и перекрестила меня, что усугубило мои дурные предчувствия. В машине оказались узкий лежак и четыре кресла — три

спереди, одно сзади.

— Как вы, сидя или лежа поедете?

Я сказал, что, конечно, сидя. Тем более, что перечисленные выше симптомы как будто прошли и лежачего больного изображать из себя не хотелось. Расселись по креслам, пристегнулись, поехали. Куда? Зачем? Нужно ли? Я прожил уже, как сказал бы ученый человек, основной корпус жизни, и стоит ли так уж цепляться за то, что осталось, если даже в нужности всего нашего существования у некоторых людей есть сомнения.

О смысле жизни

«Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» — спрашивал Пушкин.

Всякий думающий человек рано или поздно задавался этим вопросом. При этом кто-то, естественно, надеялся, что дар, может быть, не совсем случайный и совсем не напрасный, а дан ему с каким-нибудь смыслом, может быть, даже со смыслом особенным. Ну, допустим, что жизнь Пушкина имела особый смысл, потому что... Ну, не буду объяснять почему. Хорошо, давайте начнем с Пушкина и составим список сделавших что-то особенное в литературе, искусстве, науке и оставивших, как говорится, свой след. Но ведь большинство людей никакого отдельного следа ни в чем не оставили. Крестьянин выращивал хлеб, мы его съели, переварили, осталось то, что осталось. Дворник смел во дворе листья, они опять нападали, он опять смел, чистил двор от снега, наступила весна, от его работы ничего не осталось. Значит, его жизнь вообще прошла бесследно? А жизнь животного, насекомого, оно что же — создано природой без всякого смысла? Может быть, даже и так. Все со смыслом или все без смысла. Если второе, то и Пушкин без смысла, потому что большинству людей и он не нужен. Большинство живет, не задумываясь о смысле, и правильно делает, потому что попытка найти его приводит только к напрасным мучениям, а иногда и похуже. Мой друг Костя Плотников был блестящим ученым-физиком, автором нескольких открытий, включая элемент, пополнивший таблицу Менделеева. В обыденной жизни он был легким, общительным и безалаберным человеком. Но иногда задумывался о смысле жизни, додумывался до того, что его нет, впадал в депрессию и приходил к мысли, что раз нет смысла жизни, то нет смысла жить. И тогда попадал в больницу. Врачи вникали в причину его депрессий, выясняли подробности его жизни, но все как будто было в порядке. И наследственность (папа химик, мама пианистка) неплохая, и в детстве ничем, кроме кори и свинки, не болел, учился отлично, в делах успешен, жена прекрасная и дети хорошо устроены. С сексом есть проблемы, но дело не в этом. А в том, что не видит смысла в жизни. Тогда возникали мысли о самоубийстве. Однажды его вынули из петли и привезли в больницу. Два дня он лежал лицом к стене, ни с кем не разговаривая, но безропотно подчинялся медсестрам, приходившим сделать укол, измерить давление, температуру и взять кровь на анализ. Вечером третьего дня его посетил заведующий отделением

Геннадий Еремеевич Цымбалюк, мужчина лет пятидесяти с коротко подстриженными седыми усиками на жизнерадостном загорелом лице, любитель женщин, рыболов и охотник. Он только что вернулся из Болгарии, где охотился на косуль, был результатом вполне доволен, что положительным образом отразилось на его настроении.

— Рад снова вас видеть, — сказал он, войдя в палату. — Предпочел бы встретить вас не здесь, но здесь вам тоже будет неплохо. Весь персонал относится к вам с большим почтением и необычайной нежностью. Как себя чувствуете?

— Зачем меня сюда привезли? — в ответ спросил Костя.

Вопросу доктор не удивился.

— Мы всего лишь исполняем наши обязанности.

— В чем они состоят?

— В частности, в том, чтобы удерживать людей от необратимых поступков.

— А почему вы должны меня удерживать? Почему я, взрослый человек, не могу распорядиться собственной жизнью?

— Потому что решение распорядиться таким образом чаще всего возникает под воздействием сиюминутных эмоций, и человек, удержанный от самоубийства, потом бывает благодарен удержавшим. То есть мы предполагаем, что если вас не удержать, вы бы об этом потом пожалели бы, если б смогли.

— Это не мой случай, — сказал Плотников. — Потому что у меня не эмоции, а четкое осознание того, что моя жизнь никакого смысла не имеет. Но вы вряд ли можете меня понять.

— Почему же? — возразил доктор. — Мысль не так уж оригинальна, как вам кажется. Процентов сорок наших пациентов охотно с вами согласятся. Но если вы продлите ваши размышления в эту сторону, то придете к выводу, что если нет смысла в жизни, то в смерти его тем более нет.

— И что из этого следует? — спросил больной, хотя не очень интересовался ответом.

— А из этого следует то, что если нет смысла ни в том, ни в другом, то и вовсе нет смысла в том, чтобы добровольно менять одну бессмыслицу на другую. Причиняя страдания своим близким.

— Я им живой причиняю больше страданий.

По своему образованию и личному опыту доктор знал, что убеждать больного, находящегося в глубокой депрессии, словами в чем бы то ни было, а тем более в том, что смысл жизни есть, бесполезно, что помочь ему

могут только лекарства. Тем не менее он втянулся в разговор и, забыв, что он врач, пытался подействовать на больного логикой, тем более что тот постепенно тоже разговорился.

— И вообще, что такое смысл жизни? — говорил доктор мягким задумчивым голосом, как будто впервые обсуждал эту тему и теперь размышлял вслух. — Представление о нем зависит от мировоззрения или даже от настроения. Смысл жизни можно не видеть ни в чем или видеть во всем. Кавказские люди считают, что человек выполнил свое предназначение, если построил дом, родил сына (дочь не в счет) и посадил дерево.

— Дом со временем разрушится, — парировал Костя, — сын и дерево умрут.

— Мы все умрем. Но сын построит другой дом и родит своего сына, а дерево родит другое дерево. Одно умирает, другое рождается, но в целом природа и все ее составные не умирают, а обновляются и продолжают в следующих поколениях. Так неужели вы думаете, что во все это не внесено никакого смысла?

— Кем он внесен? Богом?

— Да, я забыл, что вы, кажется, атеист. Ну допустим, вы не верите в Бога, но если мы даже возникли просто из пыли, то почему бы не предположить, что и этот процесс состоялся со смыслом. Ведь не может же быть, что наш мир, такой разнообразный, многозвучный и многоцветный, создан и существует без всякого смысла.

— А остальные миры?

— То есть?

— Все мироздание. Весь этот космос — звезды, планеты, безжизненные, пустые, холодные, серые, в их существовании тоже какой-то смысл?

— Безусловно. Вы как физик лучше меня знаете, что вращение в пространстве небесных тел, их расположение относительно друг друга и взаимная привязанность подчинены строгим законам, которые вы, ученые люди, с изумлением открываете. Вы их только открываете, но созданы-то они не вами. Но их создание было же подчинено какому-то смыслу.

— Я в этом сомневаюсь.

— Ну и сомневайтесь сколько угодно, но зачем же руки на себя накладывать? Почему вам просто не поверить своим ощущениям? Тому, что жизнь бывает всякой: скучной, холодной, серой, дождливой и слякотной, но бывают другие периоды, когда солнечно и светло, когда вы открыли что-то невероятное, когда вы любите и любимы, когда вы лежите в

засаде и на вас идет олень, красавец вот с такими рогами... Господи, неужели в такие минуты стоит думать о смысле жизни, когда сама жизнь является смыслом жизни?

Спор затянулся. Время от времени в палату заглядывала дежурная медсестра Галя с предложением сделать укольчик. Доктор делал ей знак, она исчезала. Доктор приводил аргументы, больной их отвергал и приводил свои. Оба спорщика были люди умные, образованные. Доводы каждого были убедительны, но и контрдоводы были такими же. В конце концов оба утомились, а тем временем забрезжил рассвет. Доктор спохватился, что прошла целая ночь, а ему утром опять на работу, простился с собеседником и пообещал, что встретятся утром во время обхода. Доктор ушел, больной заснул и спал долго. Проснулся от солнечного света и свежего воздуха. Это санитарка Наталья открыла окно, чтобы проветрить палату. За створками окна была решетка из толстых металлических прутьев, и тень от нее лежала на полу, который мокрой шваброй протирала Наталья. Потом влажной тряпкой она протерла столик в углу, стул и спинку кровати, на которой лежал Костя. Затем встала на стул, чтобы закрыть окно.

— Не надо, — сказал ей Костя.

— Что не надо?

— Не надо закрывать окно.

— Хорошо, — сказала Наталья и вышла.

Костя лежал на кровати, жмурился от слепящего солнца и вдруг понял, что это очень и очень хорошо — ощущать тепло солнечных лучей и вдыхать свежий весенний утренний воздух и слушать заоконные шумы городского движения, чьи-то голоса, стук каблуков, шелест листвы и карканье ворон. Он вспомнил о своей попытке самоубийства и представил себе, что сейчас он был бы не здесь, а в морге, голый и синий на цинковом ложе, и проникший сквозь форточку солнечный луч лежал бы на его безжизненном белом лице. И, на секунду представив себе эту картину, он содрогнулся от ужаса. И подумал, что неужели и правда пришло ему в голову самому добровольно отказаться от жизни, которая так прекрасна во всех своих проявлениях. Он вспомнил ночной разговор с Геннадием Еремеевичем Цымбалюком. Все, что говорил ему доктор, сейчас казалось Косте необычайно мудрым и убедительным. А его собственные возражения глупыми и бессмысленным. Теперь он точно понимал, что смысл жизни неизвестен, но он есть, а если его и нет, то и не нужно. Не надо никакого смысла, надо просто жить, наслаждаясь солнцем, воздухом, природой, цветами, музыкой, любовью, работой, выпивкой, едой и чтением умных книг. Все это он немедленно хотел рассказать Геннадию Еремеевичу и с

нетерпением ждал девяти часов утра, когда тот явится с утренним обходом. Но в девять доктор не появился, а около десяти пришла лечащий врач Оксана Габриэлевна. Глаза у нее были заплаканы, и это очень не понравилось пациенту. Ему казалось, что в такое прекрасное утро все должны радоваться жизни и ничего омрачающего радость ни у кого не должно быть. Она смирив давление и спросила, как дела.

Больной сказал:

— Хорошо.

Она, похоже, удивилась и переспросила:

— Хорошо? В каком смысле?

— В том смысле, что я хорошо себя чувствую.

Видимо, его ответ не совпадал с ее ожиданиями, и она решила уточнить:

— А как настроение?

— Приподнятое, — сказал он. — А у вас что-то случилось?

Так он спросил и напрягся, очень не хотелось услышать что-нибудь огорчительное.

Она не ответила и задала свой вопрос:

— Я слышала, вы чуть ли не всю ночь говорили с Геннадием Еремеевичем?

— Да, — охотно поделился больной, — говорили.

— И как он вам показался?

— Не знаю. Может быть, он владеет гипнозом или еще что-то такое. Я никогда не думал, что на меня кто-то может так сильно подействовать словами. А он меня убедил в том, что жизнь чего-то все-таки стоит.

— Кажется, вы убедили его в обратном, — сказала она и пошла к выходу. Уже взявшись за ручку двери, обернулась, встретила вопрошающий Костин взгляд и медленно, отделяя слово от слова, голосом диктора, читающего последние известия, сообщила:

— Геннадий Еремеевич Цымбалюк сегодня утром застрелился в своем кабинете.

Жизнь напрокат

Так что же все-таки наша жизнь? Дар напрасный, дар случайный, или что? Впрочем, это даже не дар, а лизинг, что ли, или даже просто аренда. То, что дается на время. Кому-то на продолжительный срок, а кому-то поменьше. Разумеется, меня как всякого человека занимает неизбежная мысль: а что же будет после, когда Арендатор возьмет свой товар обратно? Некоторые шли дальше. Набоков думал не только о том, что будет, когда его не будет, но и о том, что было, когда его не было. Если я его правильно понял и запомнил, он воспринимал прошлое как смерть до жизни и ставил знак равенства между ней и смертью после. До рождения его не было и после смерти его не стало. Но мне это рассуждение кажется не совсем корректным, потому что между временем до и после есть большая разница. О том, что было до нас, мы с большей или меньшей достоверностью представляем себе, пользуясь археологическими, письменными, а теперь и видеосвидетельствами наших предков. Это дарованная нам память о прошлой жизни. Как вставная флешка в компьютер. А память, это и есть жизнь. Чем больше в ней запомненных событий, тем она кажется нам длиннее.

Можно сказать, что прошлое человечества — это было наше преддетство, в котором мы тоже как будто жили. А после жизни жить не будем никак. Вот в чем разница! Со мной не согласятся те, кто верит в загробное существование, но я-то в него не верю и не сомневаюсь в том, что после жизни наступит ничто. Пустота. Вакуум. Я допускаю, что Бог в каком-то виде или совсем невидимый и неосязаемый есть, но не могу представить себе, чтобы он специально заботился о моем сохранении вне телесной оболочки. Для чего, скажите, она была нужна, если мы можем обходиться без нее?

О смерти как о полном конце жизни без какого бы то ни было продолжения я начал думать рано, примерно с девяти лет. Когда мне было шестнадцать, мы жили на последнем этаже четырехэтажного дома. Тогда почему-то мысль о смерти являлась мне всякий раз, когда, поднимаясь или спускаясь по лестнице, я считал ступени. Их было на каждый этаж по двадцати. Десять до одной площадки, десять до следующей. Я считал очередные десять и думал, что вот на десять ступенек в жизни мне меньше осталось. Я пытался мысленно поправить счет и думал: а что, если я лишний раз поднимусь на десять ступенек и спущусь на десять, значит,

двадцать мне должно засчитаться в плюс. И меня занимал тот факт, что если я пройду очень много ступенек, то и жизнь моя сократится на очень много ступенек. И чем больше шагов сделаю по земле, тем на большее количество шагов сократится моя жизнь. Получалось, что лучше вообще не двигаться.

Когда мне было девятнадцать лет, я почему-то думал и даже был почти уверен, что мне осталось жить не больше года. И очень удивился, когда дожил до своего двадцатилетия. А потом настолько примирился с мыслью о смерти, что вообще перестал о ней думать. И даже в пятьдесят шесть, перед операцией на открытом сердце, ничего не думал.

Кстати, операция была под полным наркозом. Мне распиливали грудную клетку, из меня что-то вырезали в одном месте, вставляли в другое, примерно так же поступают с покойником. И я вел себя, как покойник, то есть все это время не существовал. Не было никаких видений, не было ничего. И это был не сон. Потому что, когда я просыпаюсь, у меня есть приблизительное представление, долго я спал или коротко. А тут время совсем выпало и никак мною не ощущалось. Это была временная смерть, и совсем уже абсолютной будет конечная. Так я думаю, и эта мысль меня не страшит, потому что я давно к ней привык. Смерть есть несчастье или радость для тех, кому существование данного человека небезразлично, но для умершего она просто ничто.

Ленинский путь

Это смешно, но поселок, в котором я живу, до сих пор называется именно так: «Ленинский путь». Впрочем, у нас в стране смешного так много, что уже не смешно. Советская власть давно кончилась, а символы ее сохраняются в неприкосновенности, как будто кто-то все еще надеется (и кто-то в самом деле надеется), что она вернется обратно. В стране, которую ее лидеры представляют теперь как оплот православия, наиболее почитаемым покойником является главный безбожник, беспощадный враг религии, разрушитель церквей и церковных святынь и убийца тысяч священников. Его памятники до сих пор стоят во всех городах и пылятся обсиженные голубями на всех привокзальных площадях России. Его имя еще носят главные улицы и центральные районы почти всех городов. А еще имена его соратников и другие, чисто советские и большевистские названия: улицы, площади, переулки марксистские, коммунистические, комсомольские, пролетарские, имени Семнадцатого партсъезда и т. д. Наш поселок был построен, если не ошибаюсь, в начале тридцатых годов для участников революции 1917 года и неофициально назывался поселком старых большевиков. Тех, которые к 37-му году прошлого века отошли от дел, сталинские репрессии почти не затронули и многим удалось дожить до весьма преклонного возраста, сохранив уважение к своему прошлому и делам, в которых они принимали участие. Их заслуги оценивались ими самими в соответствии со стажем пребывания в РСДРП — ВКП(б) — КПСС, что удостоверялось надписями на могильных камнях местного кладбища. Наивысшим уважением в их среде пользовались члены большевистской партии со дня ее основания в 1898 году, дальше шли участники Второго съезда РСДРП в 1903 году, а потом серьезный водораздел был между вступившими до октября 1917 года — и после. До — значит, истинный революционер, а после, вступивший в партию, захватившую власть, — уже, может быть, приспособленец. В шестидесятых годах последние большевики, бывшие комиссары, герои Гражданской войны, вымирали здесь один за другим и находили последнее пристанище на местном кладбище. Немногочисленные родственники сопровождали их без всякой помпы по ведущей к кладбищу грунтовой дороге. Циничные потомки этих героев именно эту дорогу и называли Ленинский путь. Этот путь зарос чертополохом и лопухами, как и само кладбище, на котором утопают в сорняке одинаковые каменные квадраты с

облезлым золотом стандартных надписей, где начертаны фамилия покойника, инициалы, годы жизни и год вступления в партию. Когда найдешь нужную могилу, разгребешь колючие заросли, прочтешь дату — член с 1905 года, невольно усмехнешься: этот стаж, который казался солидным усопшему, что он по сравнению с вечностью, расстелившейся перед ним? Здешние дачи, расположенные на обширных (по полгектара и больше) лесных участках, в свое время выглядели солидными строениями и были вполне очевидным признаком жизненного успеха своих хозяев, но теперь те, что чудом остались непроданными и незахваченными (а такие еще есть), на фоне нагроможденного новыми русскими богачами архитектурного беспредела выглядят так же убого, как могилы их бывших хозяев. Вот уж правда, *sic transit gloria mundi*! Богачи, соревнуясь друг с другом, возвели шикарные хоромы, некоторые весьма причудливой формы, огородились крепостными стенами с видеокамерами и весь поселок огородили, оставив один узкий въезд со шлагбаумом. Днем и ночью поселок охраняется снаружи нарядом вневедомственной охраны, а внутри многих дворов собственной охраной и выпускаемыми на ночь из вольеров волкодавами. Весь поселок похож на лагерную зону особого режима, прогулки по нему между стенами с двух сторон вызывают ощущение прохода по тюремному коридору. В темное время суток неприятность ощущения усиливается тем, что когда вы, гуляя по дороге, пересекаете какую-то невидимую линию, с обеих сторон автоматически вспыхивают и направляют на вас свои лучи прожектора, соединенные с видеокамерами, которые, встречая и провожая вас, вращают своими змеиными головами. Поэтому, когда я выезжаю из поселка, у меня возникает чувство, что вот, вырвался на свободу.

Несмотря на то что поселок у нас, как говорится, элитный, дороги в нем кошмарные, разбитые. Зимой их никто никогда не чистит, а к весне в асфальте образуются такие дыры, что ездить по ним без риска можно только на вездеходе. Ремонт дорог требует денег, а собрать их с наших богатых жильцов не так-то просто. На просьбы внести определенную сумму некоторые из них отмалчиваются, а другие пишут жалкие объяснения со ссылками на крайнюю стесненность в средствах, что выглядит просто смешно.

Страдалец

Мы проехали по нашей Северной аллее, свернули на Среднюю, где я увидел бредущего прямо посередине дороги упомянутого выше Тимофея Семигудилова. Он достопримечательность нашего поселка, и не только его. Вот его портрет: старик моего возраста, крупный, ростом под два метра, плечистый, сутуловатый, с дряблым лицом, мешки под глазами, а глаза всегда воспаленные от ненависти ко всему живому. Ходит осенью в ватнике, яловых сапогах и конусообразной войлочной, очевидно, монгольской шапке, с большой суковатой палкой, не срезанной где-то в лесу, а специально для него обструганной, отшлифованной и покрытой лаком. Палку он держит не в качестве дополнительной точки опоры, а чтобы отбиваться от случайных собак. Но случайных собак в нашем поселке нет. До недавних пор были не случайные и не бездомные, а, я бы сказал, бесхозные, но прикормленные две, четыре, потом число их возросло до шести. Мы, жители поселка, собирали деньги, а наши охранники варили собакам кашу с мясом. Около своей будки они построили и животным три таких же, только поменьше, без печек и телевизоров. В конурах собаки практически не жили, лишь прятались от дождя, но зимой грелись с охранниками или в самой их сторожке, или на крыльце, а летом подолгу лежали прямо на асфальте посреди дороги, не опасаясь проезжавших машин, которые аккуратно их объезжали. Ходили собаки всегда всей компанией, сытые и потому не злые, даже кошек не трогали. Всех гуляющих по поселку встречали весело, виляя хвостами, и сопровождали на небольшие расстояния. И почти все наши жители к ним относились хорошо, всех знали по именам: Чук, Гек, Мальчик, Джек, Туман и Линда. И вдруг какой-то мерзавец накормил их отравленным мясом. Пять из них сдохли в ужасных мучениях, а Линда выжила, потому что, представьте себе, была вегетарианка. Так вот я говорю, гибелью собак, их жестоким убийством весь наш поселок был потрясен, и подозревали как раз Тимоху или его дружка и нашего депутата народного Алексея Чубарова, которые часто выражали недовольство тем, что по поселку ходят бездомные, по их мнению, собаки без ошейников, поводков и намордников. При этом Семигудиллов своего ротвейлера Рекса водит без намордника, а с поводка часто спускает, и тот время от времени вступает в драку с другими собаками, помельче, а однажды покусал нашего охранника Бориса Петровича. Что касается Чубарова, то он понес потом наказание, правда, не

за отравленных собак, а за жадность и подлость по совокупности. Дело в том, что он, снеся купленную им у выжившей из ума старушки за бесценок, по нынешним понятиям, старую дачу, построил здесь роскошный терем из сибирского кедра. Нанял приехавших на заработки узбеков, забрал у них паспорта, уверял, что сделает всем регистрацию, кормил и обещал расплатиться в конце. Узбеки трудились полгода, а когда работу закончили, Чубаров денег не заплатил, регистрацию не сделал, но вызвал полицию, и строители как нелегальные были отправлены на родину. А через некоторое время терем, в который Чубаров еще, к сожалению, не переселился, запылал и при подходящем дуновении ветра быстро сгорел дотла. Надо сказать, никто из жителей поселка, включая и Семигудилова, не осудил поджигателей, которых полиция искала, но не нашла, поскольку все, кого можно было заподозрить, были высланы задолго до пожара.

Но я отвлекся и возвращаюсь к Семигудилову.

Он шел, держа палку как посох, то есть не опираясь на нее, а втыкая ее прямо перед собой. Погруженный в глубокую думу, он не слышал, как мы подъехали. И не видел, наверное, всполохов нашей мигалки. Водитель Паша притормозил и некоторое время тащился за Тимохой, выражая возмущение тем, что бросал руль, размахивал руками, поворачивался к нам, произнося ругательства, в которых главными были слова: ё-моё, блин, баран, козел и придурок.

— Ну что ты ругаешься, блин! — не выдержала Зинуля. — Не можешь ему бибикнуть?

— Ты что, блин? — отозвался Паша. — Ночь ведь. Люди, блин, спят.

Он помигал фарами. Семигудилов продолжал свое неспешное шествие.

Паша включил сирену и тут же выключил. Она взвизгнула, как раненая собака, и смолкла. Семигудилов испугался и отскочил в сторону. Мы поравнялись с ним, я попросил водителя не обгонять и, высунувшись в окно, громко сказал:

— Привет полуночникам!

Он второй раз вздрогнул, поднял голову, взгляделся и, узнав, открестился от меня, как от черта, сказав при этом:

— Чур меня! Чур!

Я не удивился. Я привык к тому, что он меня держит за нечистую силу, но при этом ему меня не хватает как постоянного оппонента в его мучительных раздумьях о судьбах отечества, мира и мироздания. У него жена алкоголичка, сын дебил, старшая дочь недавно получила срок за содержание борделя и торговлю наркотиками, а младшая, более или менее

нормальная, живет в Париже, но он о семейных проблемах думает мало, поскольку страдает от существования на свете Америки, гомосексуалистов, масонов, евреев и либералов. Евреев и либералов в нашем поселке представляю я, но я у него оппонент не единственный. Нескончаемые и яростные споры он ведет по радио и по всем каналам нашего, как говорят, зомбоящика. И всегда, как показывают специальные счетчики, выигрывает с большим перевесом. Меня это раньше удивляло. Неужели, думал я, народ наш действительно настолько темен и глуп, что без критики поглощает эту мякину. Но знающие люди объяснили, что голоса подсчитывают два счетчика с шестеренками. В одном счетчике передача идет с малой шестеренки на большую, а в другом, наоборот, с большой на малую. Впрочем, другие знающие утверждают, что это чепуха, никаких там специальных шестеренок нет и не нужно, народ подавляющим без всяких счетчиков большинством голосов из двух вариантов выберет глупейший.

— Чего это ты по ночам бродишь? — спросил я Тимоху. — Не спится, что ли?

— Как же, заснешь! — ответил он с вызовом. — Такую страну просрали.

Это он имеет в виду девяносто первый год, Беловежские соглашения по разделу СССР на отдельные государства.

— Вспомнил, — говорю, — когда это случилось!

— Вот с тех пор и не сплю, — отвечает он.

— И напрасно, — говорю я ему. — Иногда надо мозговой системе давать передышку, а то, глядишь, перегреется.

— Ну да, конечно, вы, либералы, на то и надеетесь, что наши мозги уснут и атрофируются, но мы еще поднимемся, мы разогнемся, и тогда вы узнаете всю мощь народного гнева. — И дальше, не слушая меня и не считаясь с тем, что сказанное трудно ко мне приспособить, несет все подряд: — Разворовали Россию, растащили, раздербанили. Страна погибает, армия унижена, народ нищает и спивается.

На историю последних десятилетий у него взгляд стандартный для его единомышленников. Было государство, большое и мощное. Но два человека, Горбачев и Ельцин, развалили страну, разоружили армию, разрушили промышленность, довели народ до нищеты, лишили веры во что-нибудь и надежды. Иногда к упомянутым именам он добавляет Гайдара и Чубайса. В расширенный список разваливших страну либералов порой попадаю и я, прямо сказать, не по чину. А бывает, в пылу полемики он мне дает повод для избыточного самомнения и, убирая из списка всех остальных злодеев, говорит, что страну развалил лично я. Мне бы

возгордиться. Но пока чем-чем, а манией величия я, кажется, еще не страдаю. Я пытаюсь спорить логически. Я говорю, что же это за государство, какой мощью оно обладало, если его смогли развалить один-два, ну даже сто либералов? Он за словом в карман не лезет и утверждает, что все, которые его развалили, и я в их числе, действовали не сами по себе и небескорыстно, а при поддержке и за деньги американцев в лице Пентагона, Госдепа, Збигнева Бжезинского и Джорджа Сороса.

Совмещая несовместимое, он с надеждой смотрит на Перлигоса, который, достигнув высшей власти, заставил нас петь старую песню, выровнял еще слабую и неустоявшуюся демократию, овертикалил ее и осуверенил, что возбудило в среде семигудилловских единомышленников мечту о восстановлении хотя бы частично прежних порядков и возрождении в каком-то обновленном виде потерянной либералами Империи, но уже не Советской, а Российской. Об этом он не только мечтал, но и делал что-то для этого. Вместе со своими единомышленниками он вошел в состав полулегального сборища, называемого ими клуб Соколиная Охота, и там они строят несбыточные планы возрождения Великороссии, куда помимо России должны входить Украина и Белоруссия, а также частично Эстония, Латвия и Литва и северная часть Казахстана. Историческая справедливость, считают соколиные охотники, требует вернуть эти пространства России, создать большой русский мир, который, как пророчила убогая Ванга (кстати, я забыл про Болгарию), объединившись, станет главной на планете материальной, военной и духовной силой, соблазнительной и притягательной для всех остальных народов.

Он всегда говорит со мной как со смертельным врагом, при этом я знаю точно, что он жить без меня не может. Я думаю, что, если бы ему представилась возможность меня расстрелять, он, лично это сделав, потом обязательно пожалел бы, что лишился такого удобного оппонента. Когда я порой куда-нибудь уезжаю, он, как рассказывает мне Шурочка, часто околачивается у наших ворот, а иногда не выдерживает и спрашивает, как будто так, к слову пришлось, слушай, красавица, твой барин когда вернется? До меня дошли слухи, что он с Шурочкой не только мимоходом общается, но ведет с ней долгие разговоры, когда они в мое отсутствие вдвоем прогуливают, она нашего Федора, а он своего Рекса. Называя меня барином, он имеет в виду, что я живу в сытости и роскоши, чем, очевидно, пытается повлиять на классовое самосознание Шуры. Сам при этом, по его словам, удовлетворяется скромным образом жизни, чуть ли не аскет. Хотя живет в трехэтажной каменной даче, ездит на «Мерседесе» с казенным

шофером, неизвестно кем оплачиваемым, и неизвестно, за какие заслуги, и еще имеет недвижимость в Майами и в Риге, и владеет двумя ресторанами, записанными на старшую дочь, ту, что сидит в тюрьме. Тем не менее изображает из себя бессребренника, живущего только духовными интересами, которые сводятся у него к мечтам о великой и страшной России, которая уже разогнулась и скоро поднимется во весь свой богатырский рост, как бы ни противилась этому все те же Америка, Гейропа, масоны, евреи и либералы. Вы евреи, говорит он мне. В молодости меня часто принимали за еврея, потому что у меня были темные курчавые волосы и нос с горбинкой. Я никогда не возражал и никому ничего не доказывал. Но ему как-то сказал, что я не против, но исключительно правды ради сообщаю, что я не совсем то, что он думает. Моя фамилия Прокопович поповская, несколько поколений моих предков вплоть до прадедушки были священниками в селе Чильдяево Самарской губернии, а дед подался в большевики и до ареста возглавлял Союз активных безбожников. Мать моя Полина, в девичестве Нечипоренко, была из кубанских казаков, а ее отец, то есть мой другой дед, наоборот, воевал с большевиками и в двадцатом году был расстрелян чекистами.

— Так что, — говорю я Тимохе, — насчет моего еврейства ты попал пальцем в небо.

— Ничего подобного, — отвечает он, ничуть не смутившись, — кто ты по крови, мне все равно, для меня еврей не национальность, а мировоззрение. Признаю, евреи бывают хорошие. Правда, редко. Ты в их число не попадаешь.

Когда у него обнаружили рак, он ездил лечиться в Израиль. Вернулся под большим впечатлением. В восторге. Я спросил, изменил ли он свое мнение о евреях. Он спросил — с чего бы это? Ну все-таки тебя же евреи, ты сам говоришь, хорошо принимали и вылечили.

— Меня, — возражает он, — лечили не евреи, а израильтяне, мужественные и достойные люди, не либералы. Мне их философия — око за око, зуб за зуб — по душе.

— А ты не захотел там остаться? — спросил я его.

— Не надейся, — возразил он. — Я человек тутошний. Расейского разлива. И я за Россию буду бороться. До последнего издыхания. Вы народ разорили, вы его унизили, вы его добиваете, но мы, патриоты, все равно свое возьмем.

Так он говорит, но то, что он говорит, вообще ничего не значит. Когда-то он обещал сражаться за советскую власть до последнего издыхания, но сражался за нее исключительно на закрытых партсобраниях, а когда она

рухнула, спрятал свой билет подальше и какое-то время даже называл себя демократом. Про демократизм свой вскоре забыл, однако стал утверждать, что советскую власть, созданную большевиками (в подтексте опять же евреями), всегда ненавидел, но лично перед Сталиным преклонялся и период его правления считал и считает временем блистательных побед и имперской мощи, которая усилиями его и его единомышленников патриотов непременно будет восстановлена.

Тот же бред

На его словах, что они, патриоты, еще свое возьмут, мы достигли шлагбаума — границы нашего поселка. Здесь расстались, как всегда, не прощаясь. Он пошел назад, я поехал вперед. Я имею в виду буквальный смысл, а не символический. Я поехал вперед, думая о Семигудилове, относящемся к той породе людей, которые ухитряются, служа любому режиму, добиваясь от него всяких привилегий, а заодно и подворовывая, считать себя правдолюбцами, патриотами, страдальцами за народ и недооцененными властью героями.

Только поехали, Паша включил радио, и в эфире опять забулькал гнусавый голос все того же Семигудилова, и что-то он такое провозглашал патриотически возвышенное все про то же поднятие с колен, про божественный промысел, который ведет Россию извилистым путем, но всегда выводит на путь истинный, и это происходит потому, что в какой-то тяжелый или даже гибельный момент Господь посылает нам проводника, который твердой рукой берет под уздцы лошадь нашей истории и ведет Россию к богатству, процветанию, приобретению новых территорий, очень нам нужных в оборонительном отношении и сакральных по существу. Слушая этот бред, я сам впал в бредовое состояние, и что со мной было потом, точно объяснить не могу. Потом, во все время нашей поездки, я то засыпал, то терял сознание, то бредил, на короткое время приходил в себя и опять отключался, и снова меня посещали какие-то странные видения, которые я никак не мог отличить от яви. Теперь все происшедшие со мною события я излагаю в том порядке, в каком они извлекаются из моей памяти, а уж что из того мне приснилось, привиделось, прибредилось, было мною вообразено или случилось на самом деле, это я сам определить не могу, а вы попробуйте, если хотите.

Передачу вел известный ведущий Вовик Индюшкин, известный тем, что всегда врет, что никогда не врет и что больше всего на свете дорожит своей репутацией. Впрочем, насчет репутации, может, даже не врет, а судя по его передачам, действительно дорожит той, которая есть. Участвовали, кроме Семигудилова, коммунист Зюзюкин, известный в народе под кличкой Зюзю, системно-либеральный национал Вольф Поносов (Понос) и призванный для видимости баланса представитель несистемной оппозиции и мой младший друг Виталий Цыпочкин, прозванный Цыпой. В рамках программы «Точка и кочка зрения» они спорили, кто лучше: Ленин и

Сталин или Горбачев и Ельцин. Первые два спорщика сходились во мнении, что Ленин и Сталин оба были хороши, но Сталин все же получше. Ленин заложил фундамент великого государства, Сталин на этом фундаменте возвел величественное здание, а Горбачев по заданию американцев построенное разрушил, в чем ему помог алкоголик Ельцин. Оппозиционер пытался им возражать, но как только он открывал рот, его оппоненты вместе с ведущим начинали кричать что-то патриотическое, заглушая его так, чтобы никто ничего не понял, но тот все-таки сообщил публике, что у Ленина был сифилис мозга, а Сталин был клиническим параноиком, и тот и другой диагнозы были поставлены академиком Бехтеревым. После второго диагноза и в результате его же академик отравился консервами и скончался.

Зюрю сказал про Ленина, что тот был великий вождь всего человечества и неподражаемый гений, Семигудиллов в принципе с ним согласился, но заметил, что Сталин сделал намного больше. Он восстановил империю, построил много чего грандиозного, победил в войне и вывел Россию в космос. Цыпа успел прокричать, что войну выиграл не Сталин, а народ, который Сталин уничтожал в больших количествах, и что все грандиозное построено за счет рабского труда.

— Да, — охотно согласился Семигудиллов, — мы рабы, и у нас рабская психология, но в этом ничего зазорного нет. Рабы тоже имеют чувство собственного достоинства, а свою несвободу сублимируют в творчество. Рабы построили пирамиду Хеопса, собор Василия Блаженного, проложили дорогу в космос. Рабским трудом у нас занимались крестьяне, рабочие, интеллигенция и ученые. Мы все были рабами великого государства, в этом нет ничего унижительного. Быть рабом большой силы не стыдно. Ведь мы любого человека, будь он хоть царем, называем раб божий. А государство, если оно большое, если оно мощное, оно и есть Бог. С большой буквы! Туполев в рабском состоянии строил великолепные самолеты, а Королев чертил спутники. Наши ученые не гонялись за иностранными грантами и не зарились на нобелевские премии. Даже в лагерях они любили Родину и Сталина, не отделяя одно от другого. Сидя в шарашках, они за миску баланды делали великие открытия и укрепляли мощь нашего великого государства, которое разрушили Горбачев, Ельцин и такие, как Цыпочкин.

Дальше Семигудиллов захватил микрофон и долго солировал, не давая собеседникам возможности себя перебить. Слушая, я закрыл глаза и, может быть, даже заснул, но речь его могу произнести за него, и держу пари, что сильно не ошибусь.

В его интерпретации все человеческое общество делится на ведущих,

которых бывает очень мало, и ведомых, составляющих большинство. Ведущие — это те, кто готов возглавить, руководить, взять на себя ответственность, а ведомые — это народ, который работает, создает национальный продукт, выигрывает войны, но только под руководством ведущих. Ведомые без ведущих это не народ, а слепое стадо, которое не найдет себе пищи, заблудится, свалится в пропасть и пропадет, о чем либералы могут только мечтать. Но, имея ведущих, стадо превращается в организованную силу, которая может самоотверженно трудиться, воевать, безропотно погибать и готова по зову ведущих стать навозом для удобрения родной почвы, и в этом, нисколько не гнушаясь такого образа, они сами видят свое высокое предназначение.

Злодейств Сталина Тимоха не отрицает, но считает их для России несомненным благом. Да, церкви разрушались, да, священников расстреливали, но они должны были пройти через эти испытания, как Христос прошел через свои крестные муки. Да, интеллигенцию сажали, но она должна была ответить за свою исторически поганую роль в деле смущения и совращения народа. Да, был ГУЛАГ, потому что перед страной стояли большие задачи. Надо было построить много городов, плотин, каналов, железных дорог, для всего этого нужна была дешевая рабочая сила. Да, военную верхушку перед войной уничтожили, но это было необходимо, потому что тогдашние красные маршалы, все эти Тухачевские, Блюхеры, Якиры чувствовали себя национальными героями, самостоятельными фигурами, были недовольны сталинским руководством и могли представлять для него опасность. А уж что большевиков расстреливали, так за уничтожение этих немецких шпионов и губителей России товарищу Сталину особая благодарность.

Говорят, что израильские следователи, готовя процесс над Адольфом Эйхманом, нацистским преступником, «архитектором холокоста», провели с ним такой эксперимент. Дали ему пачку фотографий неизвестных ему людей, среди которых были нормальные люди и закоренелые преступники. Предложили выбрать наиболее симпатичных, и он безошибочно выбрал преступников. Я думаю, что если Семигудилову предложить такой же эксперимент, то и результат будет очень похожим.

Я уверен, что все, оправдывающие злодеяния Сталина, — или невежды и дураки, или люди с преступными наклонностями. Сейчас количество любящих злодея по убеждениям поубавилось, зато прибавились полюбивших по дурости. В советское время я встречал их тьмы-тьмущие из бывших партийных функционеров, чекистов и вертухаев, делавших карьеру на несчастьях народа, и это были люди, как правило, злобные,

лживые, вороватые и похотливые. Если в коммунальной квартире попадался такой, то от него можно было ожидать чего угодно: что нагадит в кастрюлю или напишет ложный донос, или что-нибудь украдет, или родную малолетнюю дочь изнасилуется. Кстати, именно такой слух и ходил когда-то про Семигудилова. Против него даже возбудили уголовное дело, вскоре замятое. Были учтены его общественная активность, репутация патриота и, как говорилось в юбилейной статье к его пятидесятилетию, непоколебимая вера в коммунистические идеалы и безграничная преданность партии и правительству.

В панегирике, посвященном ему четверть века спустя, отмечались его преданность русской идее и религиозная активность.

В публичных дискуссиях либералы Семигудилу всегда проигрывают, благодаря не только нужным образом настроенным колесикам, а еще потому, что само существование диспутов о Сталине убеждает публику, что вопрос об этой личности и ее роли по крайней мере спорный.

Отвлечшись на свои мысли, я не заметил, как Семигудиллов перешел к нынешнему нашему Перлигосу, ведущему, которого в тяжкую минуту, спасая Россию от гибели, послал нам сам Бог. Это великий человек, из всех предшественников равный, может быть, только Сталину.

Есть разные способы лести высшему начальству. Сталина желавшие ему угодить называли наш дорогой и любимый вождь великий товарищ Сталин, а упоминать всякое его замечание по любому поводу следовало так: «Как мудро заметил товарищ Сталин», «Как гениально указал товарищ Сталин». Хрущева и Брежнева называли чуть проще. Наш дорогой Никита Сергеевич, наш дорогой Леонид Ильич, а их указания все без исключения оценивались как правильные, справедливые, ясные, вовремя сказанные. Сегодняшний льстец, поминая высшего начальника, обязательно назовет полностью имя, отчество и фамилию. Но Семигудиллов предпочитает скупой солдатский способ лести. Он называет Первое лицо просто по фамилии, но дальше приписывает ему такие черты характера и способности, до каких более примитивный льстец не додумается. Сейчас, говорит Семигудиллов, в сталинской чрезвычайной крутости (может быть) необходимости нет (пока), но все-таки Перлигос действует достаточно жестко, и правильно делает, это необходимо, чтобы хотя бы частично исправить последствия разорительного правления либералов. Он, как Владимир Красное Солнышко, дал России веру, он, как Иван Калита, является собирателем русских земель, он, как Петр Первый, возвращает России ее величие. И вернул бы полностью, если бы не пятая колонна (все

те же масоны, евреи и либералы), уничтожить которых ему мешает излишнее человеколюбие. Человеколюбие — это вообще одна из немногих его слабостей. При этом он остается обаятельным человеком, заводным, азартным, по-мальчишески любопытным до жизни во всех ее проявлениях. Вы посмотрите, говорит Семигудиллов, как поразительно он все успевает. Неустанно путешествует по стране и по всему миру, занимается спортом, скачет на лошади, ездит на мотоцикле, катается на коньках, летает на истребителях, стратегических бомбардировщиках и дельтапланах, участвует в пожаротушениях, спускается под воду, занимается защитой редких животных, что документально подтверждено репортажами журналистов и видеоматериалами, запечатлевшими его общение с белыми медведями, амурскими тиграми, нильскими крокодилами.

Интересно, что, претендуя на репутацию отчаянного правдолюбца и даже страдальца за правду, Семигудиллов ухитрился про каждого из пережитых им советских и российских вождей, начиная с Хрущева, сказать во время их правления что-нибудь им особенно лестное, а после говорил что-то противоположное. Но никому так не льстил, как нашему нынешнему. Вот сейчас, когда я вез в себе своего клеща, он, переходя от одной темы к другой, предложил обратить внимание на то, что Первое лицо мыслит и действует каким-то недоступным нам способом, принимает решения всегда неожиданные, парадоксальные, вызывающие у нас сомнения, недоверие и отторжение, а потом оказывающиеся единственно правильными. Его можно сравнить с кем-нибудь из величайших шахматных гроссмейстеров. Он делает ходы, ввергающие среднего шахматиста в шок, а потом — раз-два и мат. И взрыв аплодисментов.

— Нашему пониманию, — говорит Семигудиллов о прославляемом им гроссмейстере, — совершенно недоступен ход его мыслей и логика его действий, потому что он не просто человек и не просто даже великий человек, может быть, он вообще не человек, а нечто большее, высшее существо, миссия которого — руководить не только нами, но, может быть, всем человечеством и даже больше — всем животным миром.

Вот до чего договорился! Место руководителя человечеством, животным миром и всем остальным занято Господом Богом, который свою должность, кажется, пока не собирается никому уступать (вот уж где нет никакой демократии), — это я, конечно, мысленно возражаю. Но если бы Тимоха на этом остановился. Так нет же...

— Мы, — заходится он, впад в состояние необычайного возбуждения, — представляем себе его как чиновника, который сидит в Кремле, принимает министров, вручает награды, и думаем, что для него это

что-то важное. А для него это только мелкая рутинная работа, отвлекающая его от истинно грандиозного и невообразимого, не поддающегося человеческому уму. Вы еще посмотрите, вы еще увидите, как он взвьется, как поднимется горным орлом до невероятных высот, как расправит могучие крылья, и весь мир, все человечество, запрокинув головы, устремит на него восхищенный взор.

— Какой бред! — не удержался я и воскликнул.

— Что? — обеспокоенно вскинулась Зинуля. — Вам кажется, что вы бредите?

— Нет, мне кажется, что он бредит.

— Да, — кивнула Зинуля, — это бывает.

— Что бывает? — встревоженно спросила Варвара.

— Бывает так, что человеку в бреду кажется, что бредит не он, а все остальные.

Я хотел решительно возразить. Но потом подумал, а может, она права. Ведь мне, я должен признать, часто, очень часто кажется бредом все, что я вижу вокруг себя. Бредом кажутся речи первых лиц государства, депутатов, церковных иерархов, прокуроров, судей, рядовых граждан, многие идеи, законы, судебные приговоры кажутся вынесенными людьми, находящимися в состоянии невменяемости. Раньше такое восприятие мира не казалось мне выходящим за норму, а теперь я вдруг подумал: если мир кажется мне сумасшедшим, то, может быть, дело не в мире, а все-таки во мне? Весь мир сошел с ума, а я нормальный, это, наверное, каждому сумасшедшему кажется. И все-таки... Когда я слышу хвалы, со всех сторон льющиеся на нашего Перлигоса, мне почему-то вспоминается когда-то прочитанное о Гарри Трумэне. Когда он в 1945 году стал президентом, какой-то его друг сказал: «Гарри, теперь, когда ты достиг высшей точки в своей карьере, очень многие люди найдут в тебе разные достоинства, которых раньше не находили. Изо дня в день они будут тебе говорить, что ты самый умный, самый талантливый, лучше всех разбираешься во всех вопросах и вообще гений. Но мы-то с тобой знаем, что это не так».

Этот текст я бы заключил в золотую рамку и вывесил в кабинетах правителей послереволюционной России, которые все, кому удавалось на вершине власти продержаться хотя бы десяток лет, неизменно заболели манией величия и воображали, что без них Россия не может существовать. Может существовать без них. Но может и при них, занимая в мире соответствующее место. Чтобы узнать, какое именно, я открыл свой айпад и нашел в нем такой текст:

Рекорды и антирекорды

Россия — самая большая страна в мире. Ее территория — одна восьмая часть или двенадцать с половиной процентов всей земной суши. Россияне, проживающие на этих просторах, это всего лишь два процента населения планеты. При этом Россия занимает:

1-е место в мире по разведанным запасам природного газа (32 % мировых запасов газа);

1-е место в мире по добыче и экспорту природного газа (35 % мировой добычи газа);

1-е место в мире по добыче нефти и второе место по ее экспорту;

1-е место в мире по разведанным запасам каменного угля (23 % мировых запасов);

1-е место в мире по запасам торфа (47 % мировых запасов);

1-е место в мире по запасам лесных ресурсов (23 % мировых запасов);

1-е место в мире по запасам поваренной соли и 2-е место по запасам калийной соли;

1-е место в мире по запасам питьевой воды и 2-е место по объему пресной воды;

1-е место в мире по запасам минтая, крабов, осетровых в своей 200-мильной экономической зоне, и 2–3-е место по запасам трески, сельдевых, мойвы, сайки, лососевых и др.;

1-е место в мире по разведанным запасам олова, цинка, титана, ниобия;

1-е место в мире по запасам и производству рудничного и рафинированного никеля;

1-е место в мире по разведанным запасам железных руд (около 28 % мировых запасов);

1-е место в мире по экспорту стали и третье место по экспорту металлопроката;

1-е место в мире по производству и экспорту первичного алюминия;

1-е место в мире по экспорту азотных удобрений;

2-е и 3-е места по экспорту фосфорных и калийных удобрений;

1-е место в мире по запасам алмазов и второе место по их добыче;

1-е место в мире по физическому объему экспорта алмазов;

1-е место в мире по разведанным запасам серебра;

2-е место в мире по разведанным запасам золота;

2-е место в мире по разведанным запасам платины и первое место по её экспорту;

3-е место в мире по размерам государственных золотовалютных резервов;

3-е место в мире по разведанным запасам меди и свинца;

3-е место в мире по разведанным запасам вольфрама и молибдена;

1-е место в мире по протяженности электрифицированных железных дорог;

1-е место в мире по числу ежегодных запусков космических аппаратов;

1-е место в мире по количеству проданных на экспорт самолетов-истребителей;

1-е место в мире по поставкам на экспорт средств ПВО средней и малой дальности;

2-е место в мире среди стран, обладающих наибольшим количеством стрелкового оружия;

2-е место в мире по поставкам вооружения всех видов;

2-е место в мире по величине подводного флота;

1-е место в мире по величине национального богатства (при любом методе расчета, как по абсолютной величине, так и на душу населения).

1-е место в мире занимает Россия по импорту мяса кенгуру из Австралии.

Читая это, я начал проникаться гордостью, но на полдороге остановился, подумав, что гордиться-то, собственно, нечем. Ведь эти всякие ископаемые, которыми наши недра набиты, ведь не мы их туда заложили, а значит, спасибо надо сказать Тому, кто это сделал до нас, а потом нас над этим всем расселил. Так что гордиться, я понял, нам нечем, а порадоваться есть чему, сказал я сам себе и опять сам же себя прервал вопросом: а есть ли? Могу ли я гордиться тем, что мы первые в мире по экспорту кенгуриатины, если я ее в жизни не пробовал. Я спросил у Зинули, ела ли она когда-нибудь кенгуриное мясо. Она удивленно спросила: «Чего?» — и я обратился с тем же вопросом к Паше. Паша не только не ел, но и о том, что существуют такие животные, слышал лишь краем уха. Если бы я был марсианином, то, прочитав весь приведенный список, подумал бы: как хорошо, должно быть, живут жители этой страны, которой недра набиты такими несметными богатствами. И очень бы удивился, узнав, что Россия занимает:

62-е место в мире по уровню технологического развития (между Коста-Рикой и Пакистаном);

67-е место в мире по уровню жизни;

70-е место в мире по использованию передовых информационных и коммуникационных технологий;

72-е место в мире по рейтингу расходов государства на человека;

97-е место в мире по доходам на душу населения;

127-е место в мире по показателям здоровья населения;

134-е место в мире по продолжительности жизни мужчин;

159-е место в мире по уровню политических прав и свобод;

175-е место в мире по уровню физической безопасности граждан;

182-е место по уровню смертности среди 207 стран мира.

Зато:

1-е место в мире по абсолютной величине убыли населения;

1-е место в мире по заболеваниям психики;

1-е место в мире по количеству самоубийств среди пожилых людей;

1-е место в мире по количеству самоубийств среди детей и подростков;

1-е место в мире по числу детей, брошенных родителями;

1-е место в мире по количеству аборт и материнской смертности;

1-е место в мире по числу разводов и рожденных вне брака детей;

1-е место в мире по потреблению спирта и спиртосодержащей продукции;

1-е место в мире по продажам крепкого алкоголя;

1-е место в Европе по числу умерших от пьянства и табакокурения;

1-е место в мире по потреблению табака и 3-е место по производству табачных изделий;

1-е место в мире по числу курящих детей и темпам прироста числа курильщиков;

1-е место в мире по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы;

1-е место в мире по количеству ДТП;

1-е место в мире по количеству авиакатастроф (по данным Международной ассоциации воздушного транспорта, уровень авиакатастроф в России в 13 раз превышает среднемировой);

1-е место в мире по объемам поставок рабов на международный черный рынок;

1-е место в мире по темпам роста числа долларовых миллиардеров;

2-е место в мире по числу долларовых миллиардеров (после США);

2-е место в мире по распространению поддельных лекарств (после Китая);

2-е место в Европе по числу самоубийств на душу населения (после Литвы);

2-е место в мире по числу убийств на душу населения (после Колумбии);

2-е место в мире по числу журналистов, убитых за последние десять лет;

2-е место в мире (после Сербии) по количеству людей, ищущих убежища в развитых странах Запада;

2-е место в мире по уровню бюрократии;

2-е место в мире по количеству заключенных на 1000 человек (после США);

2-е место в мире среди стран-распространителей спама;

3-е место в мире по распространению детской порнографии;

3-е место в мире по количеству тоталитарных сект;

3-е место в мире по числу абонентов сотовой связи;

3-е место в мире по угону машин.

И кто виноват, что при таких богатствах народ этой страны живет в бедности и унижении? Власть, которая позволяет разворовывать эти богатства и сама участвует в разворовывании? Народ, который позволяет так с собой обращаться? Где такое видано, что двадцать три миллиона жителей страны из ста сорока живут за чертой бедности? Государственный служащий Игорь Иванович тоже живет за чертой, но с другой стороны. Его доход 5 000 000 (пять миллионов!) рублей в день (в день!), больше, чем семьсот граждан по другую сторону черты получают в месяц. При этом государство, чтобы не разорять Игоря Ивановича слишком сильно, оплачивает его квартиру и отдельно дает деньги на содержание до двадцатитрехлетнего возраста его детей.

Я давно примирился с мыслью, что справедливости нигде нет и быть не может, но нормальное человеческое общество не может не считаться со стремлением к ней. Поэтому справедливости нет, но для того чтобы общество мирилось с несправедливостью, она не должна быть вопиющей и слишком бросающейся в глаза. Советский режим 70 лет просуществовал кроме всего на том, что поддерживал в обществе иллюзию равенства. Равенства в скромности условий быта и потребления. Большинство советских людей были приблизительно равны, живя на сравнительно скромную зарплату, в весьма стесненных жилищных условиях, долгое время в коммунальных квартирах (одна семья — одна комната) и высшие зарплаты не сильно превосходили низшие. В середине пятидесятых годов партия решила улучшить жилищные условия народа. Началось массовое строительство дешевых домов. Многие люди переселялись в отдельные квартиры, но и тут для большинства соблюдалось относительное

равенство. Каждый человек имел право на определенное количество метров, и для большинства переход за эту норму был невозможен. Но, разумеется, была категория людей, наиболее ценимых государством. Представители высшей партийной номенклатуры, государственные чиновники, многозвездные генералы, особо отличившиеся в прямом услужении государству деятели искусства и ученые с допуском к особо охраняемым государственным секретам. Эти пользовались благами, недоступными всем остальным гражданам, но и их привилегии, во-первых, скрывались, а во-вторых, кажутся жалкими по сравнению с привилегиями тех, кто приближен сегодня к особе Первого лица. Для этих никаких ограничений нет. Они могут владеть и владеют виллами, дворцами, яхтами и еще черт-те чем, пьют вина ценой по несколько тысяч долларов за бутылку, тратят миллионы на свои дни рождения, приглашая западных, а кто победнее — отечественных суперзвезд, и делают это практически не скрывая и ничего не боясь, а народ смотрит на это, терпит и охотно отвлекается на какие-нибудь радости вроде спортивных праздников и захвата чужих территорий. Но будет ли он терпеть это до бесконечности — вопрос, который должен же хотя бы немного заботить наших правителей. Народ наш доверчив и терпелив, но когда-нибудь откроет он глаза, посмотрит, что с ним вытворяют, проснется, исполненный сил, и тогда... что он сделает тогда? Поддерживают современный режим, верят в него, несмотря ни на что, 90 процентов, но режим напрасно считает их своей надежной опорой.

Диссиденты советского времени делились, грубо говоря, на две категории: на тех, кто не любил режим с молодых ногтей, и на других, вышедших из пламенных комсомольцев и коммунистов. Первые, борясь с властью, не особенно возмущались ее действиями, потому что заранее знали, что она такая, какая есть. Вторые, поначалу безоглядно веря власти и ее вождям, с остервенением набрасывались на тех, кого власть объявляла врагами народа, на тех, кто сомневался в преимуществах советского строя и гениальности вождей, но, когда они вдруг прозревали, контраст между тем, во что они верили, и открывшейся им правдой был настолько велик, что они чувствовали себя подло обманутыми и, потрясенные этим обманом, бросались на борьбу с властью с той же яростью и бескомпромиссностью, с какой раньше ее поддерживали. Неужели Первое лицо нашего государства не понимает, что эти 90 процентов станут его злейшими врагами, когда поймут, как подло он использовал их доверчивость? Неужели не задумывается об этом? Или какие-то более важные дела его отвлекают?

— Вот именно что более важные, — откликнулась Зинуля, и я понял, что она все-таки каким-то образом читает мои мысли.

— Да какие же у него могут быть более важные дела? — сказал я ей. Ведь первое лицо государства. Ну да, я понимаю, у него было трудное детство, он мечтал быть шпионом. Он никогда не готовился к той роли, которая ему выпала самым случайным образом. Но раз уж выпала, неужели ему не приходит в голову, какую ответственность он взял ни себя? И неужели, раз уж так получилось ему войти ни с того ни с сего в историю, неужели не хочется ему оставить в истории свой след.

— Очень даже хочется, — ответила мне Зинуля.

— Но почему же он для этого ничего не делает?

— Он делает. Он очень даже делает, — возразила Зинуля. — И он оставит след. Он оставит такой след, какой никому еще не удавалось оставить. Вот увидите, он скоро прославится. Он скоро так прославится, что вы даже не можете себе представить, как он прославится.

Она уже не первый раз говорит со мной намеками, мне надоело их расшифровывать, но, думая о Перлигосе, я вспомнил свой разговор с Акушей.

Сколько стоит один миллиард

Моих друзей одного со мной поколения практически никого не осталось. Из оставшихся Акуша на восемь лет моложе меня, в нашем возрасте разница не столь велика, но она состоит в том, что я помню ту большую войну с первого дня до последнего, а Акуша всю ее пережил во младенчестве. Но в целом мы люди одной эпохи, которой оба и сформированы, давно сформированы, в любом случае оба старые люди. Акуша — это дружеское прозвище, прилипшее к нему со школьных времен. Полное имя его Борис Глебович Акушев, поэтому для некоторых он Борисоглебыч, а для меня просто Борька или чаще все-таки Акуша. Акуша, недавно потерявший жену, живет одиноко в старой полуразвалившейся даче, доставшейся ему от дедушки, старого большевика, и занимается самогоноварением исключительно для личного (иногда вместе со мной) потребления. Когда-то какие-то богатые люди давали Акуше за его участок бешеные деньги, но он отказался. Богатые люди пытались выкурить его иными способами, однажды даже самым натуральным, то есть просто подожгли дачу. Но за Акушу заступилась природа, как раз грянул такой ливень, что огонь был потушен, не успев разгореться. Богатые люди предпринимали против него еще кое-какие действия, но он оказался достойным внуком своего дедушки, в годы Гражданской войны приморского партизана, не поддавался угрозам и выстоял. Пенсия у него около двадцати тысяч, но он сдает свою двушку в Москве, и ему этого на его скромную жизнь хватает. Он давно уже ничего не пишет, считая, что в писании никакого смысла нет, все написано до него. В принципе я с ним согласен, но тем не менее проводить время просто так не приучен. На мой вопрос, чем он целыми днями занимается, кроме самогоноварения, Акуша отвечает коротко: берегу здоровье и думаю. Бережение здоровья проявляется в том, что по утрам он делает зарядку с гантелями, пятнадцать раз подтягивается на самодельном турнике и обливается холодной водой. Здоровье ему нужно потому, как он говорит, что надо кое-кого пережить. Под кое-кем он подразумевает наших вождей, а мы уже пережили Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачева, Ельцина. Теперь надеется пережить по крайней мере еще одного. Впрочем, он не просто думает, а еще поглощает и переваривает огромное количество информации и любит ее обсудить. Он смотрит наш зомбоящик, сидит круглосуточно в Интернете, вычитывает новости, от

которых приходит в ужас. А может быть, его реакцию надо оценивать как-то иначе. Не ужас, а какое-то даже сладострастие при поглощении всей этой гадости, которую Интернет доставляет ему в неограниченных объемах. Он бывает очень разочарован, если не услышит в эфире или не найдет во Всемирной сети чего-нибудь разоблачительного, вроде рассказа о безнаказанно присвоенных миллиардах, о чьей-то роскошной яхте, вилле, дорогой машине, о прожигающих на Западе жизнь детей высоких чиновников, о прокурорах, берущих большие взятки, о том самом, который получает пять «лимонов» в день, о рейдерских захватах, о людях, посаженных за выход на мирный митинг. Как это было в нашей советской молодости, всех, причисленных к существующей власти, он называет «они». Ты слышал, говорит, они всех правозащитников заставляют регистрироваться как иностранных агентов. Ты видел, какие часы у секретаря нашего этого? Ты читал, они разрешили полиции применять против толпы оружие.

Недавно на взятках поймали какого-то генерала. Показывали его дворец, двенадцать комнат, шесть чемоданов денег, золотые часы, люстры, что-то еще. Вроде происходит борьба с коррупцией. Но кого-то арестовывают и показывают по телевизору все им наворованное, а другой, наворовавший в десять раз больше и постоянно разоблачаемый журналистами, свободно живет в своих хорах, ездит на «Роллс-Ройсе», носит часы за триста тысяч долларов, ничего ни от кого не скрывает и скрывать не собирается. В советское время были хотя и неписанные, но понятные правила. Если ты, занимая какую-то должность, имитируешь преданность режиму и числишься патриотом (а на государственной службе все воры имитируют преданность и числятся патриотами), то тебе прощается многое. Воруй, но знай меру. Примерно соотноси свою должность, близость к высшему начальству с объемом воруемого, но не попадайся. Если уж попался, то самое малое — исключат из партии, снимут с должности, если и не посадят, то запихнут куда-нибудь с глаз долой. Теперь же нет никакой меры и никаких правил. Одного вора показательно сажают, а другого... Все помнят историю с министром, который украл миллиарды, и, не угодив кому-то чем-то иным (но не тем, что украл миллиарды), стал жертвой крупного судебного разбирательства. Сколько было ликования в нашем обществе, жаждущем крови и справедливости! Интернет гудел. Телеканалы с алчной готовностью, щедро показывали, как бывший любимец самого верхнего начальника покорно является на допросы в Следственный комитет. Народ испытывал трепетное волнение — вот она, началась настоящая война с коррупцией, все

наперебой гадали, какой срок он получит, надеялись, что немаленький, а оптимисты предвкушали даже расстрел. И вдруг все кончилось пшиком, дело тихо закрыли, экс-министр получил новую должность, не такую значительную, как прежняя, но вполне хлебную, на том все и улеглось.

Акуша наше государство называет воровским и клептократическим, и главный вор, говорит, я даже боюсь сказать кто. И утверждает, что еще год-два — и государство развалится от коррупции. Я возражаю — мол, ерунда, коррупция у нас большая, но убыток от нее, как мне сказал один знающий экономист, не более двух процентов от ВВП, это для такой большой и богатой страны ничего.

— Два процента это ничего, — говорит Акуша, — но для того, чтобы их защитить, нужны остальные проценты, которых немного не хватит до ста.

Я говорю: как это так? Он говорит: а вот так. Представь, говорит, себе, что ты глава государства, легитимно избранный большинством народа. До того, как тебя избрали, ты был честным-пречестным, но когда в твоих руках оказался ключик ко всей казне государства, ты не удержался и из миллиарда миллиардов украл один.

— Всего-то?

— Ну, если хочешь сорок или сто сорок миллиардов, не важно, это все равно ущерб для государства на фоне всех остальных расходов мизерный. Но если даже один, он влечет за собой такие последствия, которые надо защищать всем остальным бюджетом страны.

— Разъясни, — говорю я ему.

— Разъясняю. Начнем с того, что и один миллиард невозможно украсть одному, даже если ты Самый-Пресамый. Укрыв, ты должен поделиться с теми, кто тебе помог это сделать, или дать им тоже что-то украсть, или продвинуться по службе, или получить по дешевке сколько-нибудь гектаров дорогой земли, или выиграть тендер на строительство чего-нибудь крупного, или возглавить нефтяную компанию, или еще как-то вознаградить услужливого человека. Все это делается негласно, но общество состоит из очень многих людей, и некоторые из них, особенно из тех, кому ничего не досталось, бывают приметливы и любопытны. Кто-то что-то узнает, пронюхает, разболтает, пойдут слухи, утечки в печать и в Интернет. Пока ты у власти, все эти слухи и утечки тебя могут не беспокоить. Но как только ты вспомнишь, что твое пребывание у власти ограничено конституционными сроками, сразу поймешь, что повод для беспокойства все-таки есть. Есть риск, что легитимно сменивший тебя на высшем посту может заинтересоваться и украденным миллиардом, и

состояниями тех, кто помог тебе его украсть. Поэтому для начала надо попытаться заткнуть глотку тем, кто слишком много знает, болтает и выносит в Интернет. Есть много способов сделать это, но все они криминальные и, между прочим, чего-то стоят. Если к ним прибегнуть, то у будущих властей появятся дополнительные вопросы. В предвидении этого ты придешь к выводу, что за власть, хочешь не хочешь, а придется держаться. Значит, надо подправить конституцию и следующие выборы провести со стопроцентной гарантией выигрыша. Если выборы настоящие, то стопроцентной гарантии нет ни у кого, а если другие, то тут надо призвать волшебника Ч. Волшебник сделает так, что другие кандидаты, если имеют хоть малейший шанс, будут сняты с гонки в самом начале и заменены подставными, но на всякий случай и подставным разгуляться никак не дадут. Также волшебник Ч. проведет и выборы в наш как бы парламент со стопроцентной гарантией, что он весь будет послушным и лишних вопросов никогда не задаст. Заметим, что выборы честные стоят больших денег. Выборы нечестные требуют еще больших вложений.

Напоминаю, что все это мне объясняет мой друг Акуша.

— Теперь, — говорит он, — смотри, что получается. Выборы прошли с грубыми нарушениями. Они настолько грубы, что люди, большая масса, не выдержали и вышли на улицу с протестом и требованием повторных выборов. Можешь ты это допустить? Если бы не тот миллиард, который ты украл вначале, ты мог бы выйти на улицу, возглавить этот протест, распустить парламент и освежить свою власть, влив в нее новую энергию. В крайнем случае уйти с честью. Но ты уже этого сделать не сможешь, и тебе приходится стать диктатором. Руководителей протеста — в кутузку, остальных — кого задобрить, кого запугать. Для этого нужна полиция, готовая исполнять любые приказы, подкупные следователи, продажные судьи. Их всех надо поощрять, повышать им зарплаты, соблазнять другими льготами, а их честных коллег так или иначе отодвигать от дел, чтобы правосудие ни в каком случае не сумело восторжествовать. В обществе, в определенной среде, недовольство будет расти. Чтобы оно не распространилось в широких массах населения, его надо давить в зародыше. Репрессиями, угрозами репрессий, объявлением особо недовольных иностранными агентами, пятой колонной, врагами отечества. Надо создать огромный и умелый пропагандистский аппарат, который будет восхвалять твои действия и чернить твоих противников. На все это тратятся огромные деньги. Став диктатором, ты теряешь способность держать близко к себе способных людей. Все больше окружают тебя люди, умеющие льстить и поддакивать, но все меньше — компетентные.

Государство управляется все хуже и где-то что-то горит, что-то падает. Советники дают глупые советы. Принимаются ошибочные решения. Например, решить какую-то проблему с помощью маленькой победоносной войны? Удалось. Захватить какую-то территорию без единого выстрела? Удалось! Народ ликует. Рейтинг растет. Но при захвате территории советники и ты сам не просчитали, во сколько обойдется ее захват, удержание и поддержание. Не станет ли эта территория комом в горле? Пока все идет хорошо и возникает соблазн захвата еще одной территории. А тут сторона, уступившая первый кусок, вдруг воспротивилась и просто так за следующий кусок уцепилась. Начинается война, и идет не так, как ты рассчитывал. Кровь, преступления, ошибки и потери. Все это стоит уже очень больших денег. А еще выясняется, что, кроме тебя, твоей страны и страны, на которую ты напал, есть еще и внешний мир, который почему-то не оказывается равнодушным, начинает тебя опасаться и, опасаясь, предлагает отступить или хотя бы остановиться. Ты отступать уже не можешь, тогда они против твоей страны совершают недружественные движения, принимают какие-то санкции и, не понимая, как далеко ты собираешься зайти в своих амбициях, начинают укреплять оборону. А ты, конечно, воспринимаешь это как вызов и со своей стороны начинаешь укрепляться. Тратить больше денег на армию, на вооружение и перевооружение. Бюджет все больше ориентируется на войну, на большую войну, совершаются уже совсем безумные, бессмысленные и непосильные траты на изготовление новых ракет, кораблей, самолетов, танков и пушек. В результате — девяноста восьми процентов огромного бюджета огромной страны не хватает, чтобы возместить двухпроцентный ущерб, нанесенный тобой в самом начале. А тем временем нефть дешевеет, рубль падает, все дорожает, и значительной части населения уже не хватает денег ни на еду, ни, тем более, на лекарства. Недовольство растет, зреет что-нибудь вроде бунта, и ты, не зная, как с этим справиться, готов на все для сохранения своей власти, свободы и жизни. Пытаясь укрепить систему, ты расставляешь на все ключевые посты людей, демонстрирующих тебе свою преданность, а на самом деле беспринципных и продажных. Именно потому, что они продажные, их преданность — того же качества: придет момент — и они тебя, не мешкая, сдадут, повяжут и доставят к месту совершения правосудия. Поэтому ты, уже не считаясь ни с какими расходами, укрепляешь и укрепляешь армию, свою охрану, полицию (никому из них при этом не доверяя). Ты для потенциально возможного разгона людей производишь запасы горчичного газа, закупаешь водометы, заранее разрешаешь полицейским в случае чего применять оружие. Но

бывают же ситуации, когда водометы — не помогают, а полицейские — отказываются стрелять по людям... И все это потому, что ты когда-то поддался ничтожному по существу соблазну украсть миллиард. Впрочем, когда ты увидишь, что выхода у тебя нет, ты поймешь: семь бед — один ответ, и к украденному миллиарду можно безбоязненно добавить еще хоть сто-двести-триста — для максимальной строгости не исключаемого суда и первого миллиарда будет достаточно.

Все это Акуша мне разъяснял на пальцах, когда мы сидели у него на разваленной его веранде и пили самогон, или, как он его называет, кальвадос его собственного изготовления из его же яблок. А потом я ушел к себе, лег и долго ворочался и около трех ночи только смежил веки, как он мне позвонил и, не поинтересовавшись, не слишком ли поздно, дополнил свои рассуждения о стоимости первого украденного миллиарда мыслью, до которой я дошел своим умом:

— Слушай, забыл сказать еще вот что. Укрыв миллиард, исправляя конституцию, усиливая полицию, фальсифицируя выборы, он должен и возможного преемника подобрать, уже что-то укравшего, который если сменит его при жизни, то сам, во всем этом замазанный, разоблачать его не посмеет.

Над чем вы сейчас работаете?

Вспомненные мною рассуждения Акуши навели меня на грустные мысли, что если он прав, то нет никакой надежды, что у нас в скольконибудь обозримом будущем на вершине власти может оказаться честный человек. Во всяком случае мне до этого с помощью клеща или без нее уже не дожить. Чтобы отвлечься, я переключился на чепуху: сосредоточил внимание на каком-то аппарате, который зелеными и красными индикаторами перемигивается.

— Интересно, — спрашиваю Зинулю, — что это у вас за прибор?

— А я не знаю. — Она пожала плечами.

— Как не знаете? — удивился я. — Он ведь для чего-то нужен.

— Не знаю, зачем-то, может быть, и был нужен, а теперь так — бутафория.

Вот говорят, что ассоциативный вид мышления — это самый низший вид мышления. Если бы я в это поверил, мог бы умереть от комплекса неполноценности. Потому что всегда мыслю ассоциативно. Зинуля сказала: прибор бутафорский. Я с ней немедленно согласился и развил эту мысли дальше:

— У нас все бутафорское. Бутафорское правительство, бутафорский парламент, бутафорский суд, бутафорские выборы, бутафорская «Скорая помощь».

— Как вы мыслите оригинально, — оценила Зинуля. — Вы тоже писатель?

— Что значит тоже? — не понял я.

— Ну, я имею в виду, Семигудилов писатель, и вы тоже.

— Это я — тоже? — возмутился я до глубины души. — Это он тоже. Если он вообще писатель.

— Петр Ильич, — вмешалась с поправкой Варвара, — не просто писатель. А очень известный писатель. Гораздо известней вашего Семигудилова.

— Ну как это, — не поверила Зинуля. — Семигудилова знают все, даже те, которые книг не читают.

— Именно те, которые не читают, а смотрят дурацкие ток-шоу по зомбоящику. А читатели книг знают Петра Ильича.

— А-а, — отношение к сказанному Зинуля выразила непонятной, почтительной, очевидно, эмоцией. — А над чем вы сейчас работаете?

— Смешной вопрос, — сказал я.

— Почему смешной?

— Потому что интересоваться, над чем писатель работает сейчас, есть смысл только в том случае, когда знаешь, над чем он работал раньше.

— А над чем вы работали раньше?

— Петр Ильич, — снова вмешалась Варвара, — написал двенадцать романов. Но раз вы книг не читаете...

— До восьмого класса читала. А потом первая любовь, первая беременность, первый аборт, а дальше было уже не до книг.

— Но, может быть, вы до беременности хотя бы роман «Зимнее лето» прочли? — предположила Варвара.

— «Зимнее лето»? — повторила она. И оживилась: — А как же! Еще как читала! В детстве. И сериал смотрела. Как раз по этому, как вы говорите, по зомбоящику. Раза два смотрела, не меньше. А чего ж вы сразу-то не сказали? Если бы я знала, я бы вас не только в академическую, в кремлевскую больницу устроила бы.

— Да мне хоть в какую, лишь бы побыстрей.

— А зачем побыстрей? Вам что, плохо? Да вы, я смотрю, побледнели. Паша, что ты как молоко везешь? Жми на железку!

Клещи со спутников

Паша нажал на железку, и дальше мы лихо поехали с мигалкой, крякалкой и сиреной. В середине ночи пробок не было, но машин оставалось все же порядочно, и время от времени они скапливались перед красным светом, но тогда мы их объезжали по встречке и летели на красный свет. Паша лихо крутил баранку и дистанционно общался с попутными участниками движения, выставляя им средний палец и, не имея в запасе других подходящих слов, использовал опять-таки те, которыми владел: баран, козел, придурок и пидор вонючий. И я на какое-то время представил себя важным человеком, для которого нет ни очередей, ни правил движения, который может с легким презрением поглядывать на тех, которые обязаны соблюдать скоростной режим, не пересекать сплошные линии и считаться с цветом светофора. И мне так понравилось смотреть на этих, которые не имеют права вылезать из ряда, пересекать какие-то линии, игнорировать красный свет, что я хотя бы на короткое время почувствовал себя одним из тех, которые так ездят всегда. И Паша летел по встречке и на красный свет, а иногда притормаживал, видя впереди зеленый. Вот как меня везли! А вы говорите, не академик! Впрочем, чересчур задаваться не буду, это ж не меня везли, а его, того, который сидел во мне. А он-то, подлец, уж вовсе не академик. Он не академик, а я, получается, без него и вовсе никто, а с ним — его оболочка. Представляете себе, я, человек, интеллектual, писатель, автор книг, носитель многих званий и лауреат разных премий, почитаемый сотнями тысяч или даже миллионами читателей, с точки зрения клеща, был всего лишь его оболочкой. Питательной средой. Биосферой. И только в качестве оболочки достоин того, чтобы меня вот так возили. И при осознании этого факта горделивое сознание, что я какой-то не такой, как все, почти немедленно стухло.

— А вы вообще-то... — Зинуля постоянно вставляет в свою речь «вообще-то», — вообще-то, когда пишете, из головы выдумываете или из жизни берете?

— И так, и так, — отвечаю, — Из головы беру и из жизни выдумываю.

— А зачем выдумывать? Вам фактов мало? Да если я расскажу, что у нас происходит, вам на сто книг хватит.

И стала рассказывать. Но начала снова с клещей. Что вообще-то мы относимся к ним беспечно, а они очень опасны. У нее сосед, укушенный клещом, за медицинской помощью не обратился и теперь ходит с

боррелиозом. Голова болтается, руки трясутся, что будет дальше, неясно. И речь свою заключила словами:

— А вы говорите: американцы.

Я спросонья не понял.

— Кто говорит: американцы?

— Ну вам же нравятся американцы.

— Я этого не говорил. Но при чем тут американцы? Этот ваш сосед американец?

— Кто? Ванька-то? Да наш русский человек, алкоголик, боррелиозник.

— А при чем американцы?

— Как при чем? А кто ж его боррелиозом-то заразил?

— Я думал, клещи.

— Ну клещи, ясное дело, клещи. А клещи-то откуда?

— Из лесу, вестимо.

— А в лес-то они как попали?

— Ну как попали? Из сырости завелись.

— Некоторые да, завелись. И раньше заводились. Но не в таких же количествах. А с тех пор как мы подружились с американцами...

— Они завезли нам клещей?

— А кто же еще? Ой, Петр Ильич, смотрю я на вас, вы такой образованный человек и солидного возраста, но какой наивный. Что вы про американцев знаете?

— А вы что знаете?

— А все знаю. У меня свекор, он такой, знаете, шаловливый дедушка, мимо не пройдет, чтоб за задницу не ущипнуть, так он в Америке двадцать лет шпионом работал и говорит, там у них в каждом занюханном городе есть свой университет. А в университетах лаборатории, а в лабораториях ученые работают за большие зарплаты и нобелевские премии. И что же вы думаете, за такие-то бабки их зря, что ли, держат? Вот они и стараются. То колорадского жука нам подсыпят, то СПИДом заразят. А погода! Ну, вы сами же видите, что они с погодой творят. И лето не лето, и зима не зима. Я помню, раньше бывало, снег как на Покров выпадет, так иной раз до конца апреля держится. А у нас прошлая зима вообще была без снега. Все озимые повымерзали, это же что? Диверсия.

— Думаете, это все делают американцы? — вмешалась Варвара, отличаясь тем, что готова оспаривать любую глупость. Я ее толкнул ногой, потому что вздор, который несла Зинуля, мне был интересен как симптом массового психического заболевания большой части наших людей, помешавшихся на представлении о нашей особой личности, необычайной

духовности, невообразимой душевности, полной открытости, доверчивости и беззащитности от продажной Европы и злобной Америки.

— А то кто же? — говорит Зинуля. — Ну сами логически рассудите, кому это нужно, как не американцам. Они же поставили перед собой задачу сократить количество русских в двенадцать раз. Представляете? Если сто сорок миллионов разделить на двенадцать, это сколько нас останется? Так этого мало, они еще придумали такую бомбу, вы слышали? Бомбу придумали, которая падает на город, но убивает только этнических русских. Что, вы и в этом сомневаетесь? Но в клещей-то вы верите?

— В клещей верю. А они тоже только на этнических нападают?

Она не поняла подтрунивания и начала сокрушаться, что так много клещей в наших лесах никогда раньше не было, а теперь их несметное количество, и откуда они берутся? Выдержав паузу, она сообщила, что есть секретный доклад ФСБ, и в нем говорится, что клещей над нашей территорией американцы...

— Это всем известно, кроме вас. Со спутников рассыпают.

Секретный птичник

Я представил себе, а может быть, мне даже приснился, но приснился очень уж явственно, медленно плывущий над территорией нашей РФ американский спутник, из которого, преодолевая невесомость, сыплются на землю тучи мелких клещей. Когда я в очередной раз проснулся, или мне показалось, что проснулся, Зинуля уже рассказывала Варваре что-то о себе. О том, что она фельдшер опытный. Может оказать первую помощь при инсульте, инфаркте, аппендиците, холецистите. Может сделать укол, искусственное дыхание, непрямой массаж сердца и принять роды. В «Скорой помощи» работать трудно, но приходится. На зарплату мужа с двумя детьми не проживешь, хотя зарплата немаленькая. Спасибо нашему Перлигосу. Он о народе заботится, зарплаты регулярно повышает, но торговщи задирают цены, и зарплаты все равно не хватает.

— А муж мой, знаете, где работает?

— Где? — спросил я, или мне приснилось, что спросил.

— Ой, — спохватилась она, — а я вам не скажу.

Я пожал плечами (или приснилось, что пожал).

— Не скажете, и не надо. — Мне показалось, что своей равнодушной сговорчивостью я ее разочаровал.

— Нет, вы знаете, — поправилась она, как бы извиняясь, — я бы вам сказала, вам лично, тем более что «Зимнее лето», но не имею права.

— Ну не имеете, не говорите.

— Но вам же интересно. Вы, наверное, думаете, где же это у нее муж работает, если она не может об этом говорить.

Я, честно сказать, больше думал о клеще, чем о ее муже и его месте работы. Но заметил:

— Если он у вас в ФСБ работает, мне это совершенно неинтересно.

— Вот я так и думала, что вы подумаете, что в ФСБ. Это все так думают. Как скажешь кому, что муж на секретной работе, так сразу, ах, да, ну понятно, ФСБ. А он вовсе и нет. Вот если б вы заинтересовались, я бы вам не сказала, потому что, если кто интересуется, значит, может, не зря, может, он американский шпион. Или китайский. Да сейчас и хохляцкий может быть. Так я вам скажу, но между нами. Он в птичнике работает.

— В птичнике? Кур разводит?

— Кур, — сказала она со смешком. — Таких кур, что, если бы вы узнали, вы очень бы удивились.

— А чему там удивляться, ну куры как куры, наверное. Или они какие-то особые?

— Вот именно что особые. Вот с такими крыльями, — она раскинула руки в стороны, — и с таким вот клювом, — одну руку приткнула к носу, другую вытянула во всю длину.

Я думаю, что в наших условиях и не только в наших хранение государственных и военных секретов — дело не очень надежное. Сколько ни предупреждают людей, допущенных к наиболее охраняемым тайнам, беря с них подписку о нераспространении, страшая суровыми наказаниями за возможные утечки, а все-таки редко кто из них способен гарантированно удержать все, что знает, в себе. Не знаю, как кто, а я, если мне кто-нибудь доверяет какую-нибудь тайну, особенно если важную тайну, если государственную или военную, я испытываю неодолимое искушение с кем-нибудь ей поделиться. Как-то она, эта тайна, меня тяготит, мешает мне спокойно носить ее в себе. Вы, конечно, тут же спросите, случалось ли мне выдавать подобную тайну, я вам отвечу: не приходилось. Потому что мне ее никогда никто не доверял. Но, судя по себе, я почти уверен, что каждый человек, знающий какую-нибудь важную тайну, испытывает соблазн ее разболтать. Есть, конечно, такие стойкие, которые сопротивляются этому соблазну, но у них бывают очень пытливые жены. Которые, заметив, что муж ведет себя как-то не так и что-то скрывает, заподозрят его сначала в супружеской неверности (уж это как пить дать) и проявят такую настойчивость, что в конце концов до всех тайн доберутся. Я бы советовал всем агентам секретных служб не скрывать свои служебные тайны от жен, потому что это может очень плохо кончиться для них же. Мне рассказывал один матерый шпион, что он, находясь в стране потенциального противника, выполнял порученные ему деликатнейшие задания втайне от всех, и от жены в первую очередь. А жена, обратив внимание на частые и странные отлучки, поздние приходы и нелепые объяснения мужа, предположила самое худшее и устроила за ним слежку. Для этого переодевалась в мужскую одежду, меняла парики и даже наклеивала бороду и усы. Чем привлекла внимание соответствующих секретных служб. Те стали следить за ней, а через нее вышли на мужа и в конце концов разоблачили его и поймали с поличным. Теперь он сидит в американской тюрьме и ждет, когда его на кого-нибудь обменяют. Вот к чему может привести шпиона излишняя бдительность. Видимо, муж Зинули держал свой язык не на слишком надежном замке, а она, очевидно, проникшись ко мне ничем не оправданным доверием, сообщила, что место работы ее мужа — это какой-то сверхважный, сугубо секретный научно-

исследовательский институт, который находится... Она даже указала точный адрес. И будь я действительно агентом ЦРУ, как меня в том некогда обвиняли, я бы этот адрес непременно запомнил и сообщил своим заокеанским хозяевам. За соответствующую, естественно, плату. Но я, во-первых, не агент, во-вторых, не алчный, в-третьих, беспечный, в-четвертых, не придавал словам Зинули особенного значения и даже не запомнил названия института, который, конечно, называется не птичником, а имеет очень длинное официальное название. Что-то вроде Государственного научно-исследовательского института гомоорнитологии и вневидовой трансформации имени Юрия Андропова. Название я запомнил не точно, а имя запомнил, потому что оно меня удивило. Удивило тем, что, как мне помнилось, этот самый Юрий Андропов, будучи птицей высокого полета, сам достижениями в области орнитологии отмечен, кажется, не был. А возможно, и был, но мне по невежеству это неизвестно. Запомнил я еще и то, что институт находится в самом центре Москвы, но филиалы его расположены в отдаленных уголках нашей великой, в смысле размеров, страны, а главный филиал находится в Крыму. Никто о нем ничего не знает, но его сотрудники занимаются экспериментами настолько важными, что им выделили бюджет, превышающий стоимость строительства моста через Берингов пролив. Эксперимент осуществляется под контролем специальной государственной комиссии, а комиссию возглавляет лично... тут она сделала паузу, а я не выдержал:

— Кто?

Она как-то странно задумалась, набрала полную грудь воздуха, будто собиралась нырять, и, медленно выдохнув, поднесла к губам палец:

— Сам!

— Сам? — переспросил я, искренне усомнившись. — Это в каком же смысле?

— А в таком, — перешла она совсем на шепот, — что люди все спрашивают, все удивляются, чем он там занят. Разве он не видит, что страну разворовывают, издают дурацкие законы, одну войну не кончили, другую начали, а он куда смотрит? А он куда надо смотрит. Он такое дело задумал, вы даже себе не представляете. Он, так и быть, скажу вам по секрету, занят превращением человека во что-то другое. И настолько серьезно относится к этому проекту, что лично проверяет ход экспериментов и в некоторых лично участвует.

На мое предположение, что превращение человека во что-то другое, это может быть что-то клиническое по изменению пола, а при чем тут птицы, она засмеялась, замахала руками: что вы, что вы, другое, это совсем

другое. Изменять пол — это совершенная чепуха, этим может кто угодно заниматься. Она сама работала с одним профессором, который подпольно превращал женщин в мужчин, а мужчин в женщин. Этот профессор когда-то был таким же фельдшером, как и она, потом купил себе диплом, а некоторое время спустя списал чужую диссертацию, после чего стал доктором наук и профессором. Недавно его разоблачили, но поскольку диплом он купил пятнадцать, а диссертацию спер двенадцать лет назад, то есть за пределами срока давности, то его диплом и его научные звания остаются при нем и он по-прежнему делает операции по перемене полов, имея при этом обширную клиентуру с деньгами. Работая с профессором, Зинуля присмотрелась к тому, как все это делается, и сама могла бы попробовать, но научных званий нет, а на покупку диссертации денежек не хватает. Цены на нефть упали, все сильно подорожало. Но там, где работает ее муж, занимаются совсем другим. Созданием нового человека.

— А, — говорю я, — так в этом же нет ничего нового. Нового человека семьдесят лет пытались создать коммунисты.

— Не такого нового, — возразила Зинуля. — Коммунисты пытались изменить, как бы это сказать, сознание человека. Чтобы он мыслил по-новому, но выглядел, как все остальные. А тут речь идет о создании гибридного человека, чтобы он обладал человеческим умом и способностями разных диких животных. Чтобы умел бегать, прыгать, настигать добычу и летать, как птица. Последнее, кстати, является приоритетным, то есть, по-нашему, главным направлением института, и кое-что уже сделано. Скоро мы все увидим этого нового человека, это будет человекообразная птица, а точнее, птицеобразный человек, с крыльями.

Я полудремал, когда она начала нести эту лабуду, но тут проснулся, а может быть, мне только приснилось, что я проснулся. И хотя, как читатель мог заметить, я даже и наяву люблю выслушивать дикие фантазии диких людей и, как правило, их не останавливаю, но тут не выдержал.

— Что за чушь вы, Зинуля, — сказал я, — извиняюсь, несете. Вы же в вашей фельдшерской школе изучали немного биологию, зоологию, теорию эволюции, наконец. Вы можете себе представить, какие это могут быть человекообразные птицы или птицеобразные люди? Даже обезьяны человекообразные только условно считаются похожими на человека, а вообще-то им до человека так далеко. Ведь они еще даже говорить не умеют.

— Вот именно они не умеют, — решительно возразила Зинуля. — А птицы умеют. И попугаи, и вороны, и скворцы. И если птицы могут то, что делает человек, то и у человека есть шанс перенять что-то от птицы.

— Да он и перенял, — говорю, — Жуковский, не Василий Андреевич, поэт, а Николай Егорович, конструктор, давно сказал: «Человек по отношению веса своего тела к весу мускулов в семьдесят два раза слабее птицы. Но я верю, что он полетит, опираясь не на силу своих мышц, а на силу своего разума».

— Вот и я говорю, что полетит, — поставила Зинуля знак равенства между собой и Жуковским.

Можно ли уловить ту грань, когда явь переходит в сон? Не знаю, как у кого, но у меня не получается. Зинуля мне эту чушь плела, потом эта же чушь продолжилась в другом виде, в виде сна, хотя, допускаю, что и ее рассказ мне тоже приснился. Но в этом втором акте ее рассказа мне показалось, что мышцы мои усилились в семьдесят два раза, и я стал птицей, не перестав быть человеком. Впрочем, это со мной случилось не первый раз. Такие сны мне снятся часто. По крайней мере раз в месяц. Я набираю полную грудь воздуха, задерживаю дыхание и, небольшим усилием воли преодолев земное притяжение, поднимаюсь над землей. Мне это так легко делать, что потом, проснувшись, я все еще представляю себе, что вот сейчас встану с постели, всего лишь чуть-чуть подпрыгну и зависну в воздухе.

Чаще всего во сне я летаю низко и медленно, но в этот раз поднялся так высоко, что увидел Землю как шар, который скрипел и медленно прокручивался подо мной, давая возможность разглядеть океаны и материки так четко, прямо как на карте Google в формате 3d. Долго я летел. Проплыли подо мной Белоруссия, Польша, Германия и остаток Европы, Атлантический океан, американские штаты, Тихий океан, но дольше длился мой перелет с востока на запад над Россией, длинной, малозаселенной, дремучей. И я видел не только леса, поля, горы, реки, города и деревни, но и богатства недр: подземные нефтяные озера, залежи угля и всяких руд, золота, железа, алмазов и еще черт-те чего, и думал, как хорошо, в достатке и мире могли бы жить жители этих просторов. И мне показалось, что устроить на земле мир, порядок и хорошую жизнь очень просто. И на самом деле было бы просто, если бы управляющие этой страной люди не... Ну на то, чтобы совсем не воровали, на это рассчитывать было бы наивно, но чтоб знали хотя бы какую-то меру. И особо ценные работники чтобы получали не по пять миллионов в день, ну а допустим... на один миллион в день даже самый ценный работник концы с концами свести как-то мог бы. И если бы люди, приближенные к казне, как-то сопоставляли свои потребности со своими аппетитами, но при этом не ставили перед страной и народом грандиозных задач по построению

светлого будущего, не громоздили бы гигантских сооружений, перекрывающих реки и проливы, преображающих природу, были бы поскромнее, не воображали бы, что мы лучше всех, и не искали особую дорогу, а пошли бы обыкновенной, протоптанной, которую скромные и неглупые европейские люди до нас нащупали путем преступлений, проб и ошибок. Хорошо бы, размечтался я, отказаться от проведения всяких олимпиад, чемпионатов, от дорогих иностранных футбольных тренеров, от пышных праздников с танками, пушками, ракетами и прочим громыхающим по брусчатке железом, поменьше бы поклонений всяким священным реликвиям, а еще... а еще, а еще я бы посоветовал этим, над которыми я летел, воздержаться от присоединения чужих территорий и заставления живущих там людей жить так же плохо, как мы. Я летел, смотрел вниз, и вся эта проплывавшая подо мной территория показалась мне широкой рекой, скованной вековым слоем льда. Я смотрел на реку и думал: нет, этот лед никогда не растает и не расколется. Так и будет под своей толщей держать в замороженном виде все живое. И вдруг прямо на моих глазах по всей поверхности пошли зигзагообразные трещины. Лед стал лопаться, разваливаться на отдельные льдины, которые, отдаляясь одна от другой, образовывали большие полыньи бурлящей темной воды. Начался ледоход. Огромные куски, похожие по очертаниям на субъекты Российской Федерации, отваливались от основной массы и, кружась в бешеном темпе, отправлялись в самостоятельное плавание. Первыми отвалились и поплыли куски, похожие по очертаниям на Сахалин и Камчатку с Чукоткой. За ними последовали Курилы, остров Врангеля, Новосибирские острова, полуостров Таймыр, а затем лед пошел ломаться в середине, и куски, напоминавшие опять же по очертаниям республики Якутию, Мари Эл, Татарстан, Башкортостан и Нижегородскую область, стали отдаляться друг от друга, находясь в странном кружении. Завороженный всем этим видом, я смотрел вниз и пытался понять, какой из этих кусков похож на какую территорию, и, пока гадал, проплыли подо мной Тверская, Владимирская и Московская области, и вот уже засверкала куполами всех своих сорока сороков Москва. Я вдруг испугался, что она из-под меня уплывет и мне придется приземляться где-нибудь в Белоруссии или в Польше, и стал снижаться некрутой спиралью. И спустился уже почти до самой земли, но на последних метрах утратил способность держаться в воздухе, полетел камнем вниз и от страха, что расшибусь, проснулся под крик: ё-моё!

Иван Иванович

Проснулся, увидел склонившуюся надо мной Варвару.

— Ты не ушибся? — встревоженно спросила она.

— Вроде нет, — сказал я. — С чего бы мне ушибаться?

— Пашка, блин, тормозит резко, — вступила Зинуля. — Хорошо, что вы привязаны.

— Как же не тормозить, блин, когда колесо, блин... — колесо прокололось, — имел в виду Паша, — заменив слово «прокололось» эвфемизмом наоборот, и, вылезая из кабины, добавил: — Хорошо еще, что правое переднее, а если б левое, могло, блин, вынести на встречную полосу и тогда всем нам... — конец, он хотел сказать.

Я вылез вслед за ним, толкнул колесо ногой.

— Да, — говорю, — прокол. Запаска у тебя далеко?

— Какая, блин, запаска, — сердито ответил Паша. — Моя запаска на складе лежит.

— В каком смысле?

— В таком смысле, что нет у меня запаски, не выдали. — И добавил еще несколько слов, с которыми мне пришлось согласиться. Тут же перед нами возник симпатичный молодой человек уголовной наружности, в синем комбинезоне с масляным пятном на груди, с косичкой на затылке и домкратом в руке.

— Ну, что, — говорит, — командир, прокололся?

— Прокололся, — бурчит Паша.

— Ну да, бывает. На этом месте все прокалываются. Давай запаску и полштуки, сейчас все сделаем..

— Нет у меня запаски. — хмуро сказал Паша. — И полштуки нет, а до получки еще два дня.

— Так я и думал! — сказал лохматый сердито и разочарованно. — Ездят, а чем думают, непонятно.

— А ты-то чем думаешь? — сказал Паша. — Ты же видишь, государственная машина, а все равно гвозди подкладываешь.

— Не гвозди, а шипы, — уточнил молодой человек. — Нехорошо, конечно, но семью-то кормить надо. Вот и работаю, колеса частным людям менять помогаю. А для гостранспорта есть гостехпомощь.

— Дать бы тебе по башке.

— И не пробуй, — миролюбиво предупредил прокольник. — Я же тут

не один работаю. У нас тут, можно сказать, целый мафиозный трудовой коллектив. — И, движением головы указав на стоявшего у фонаря напарника с монтировкой, направился на другую сторону улицы обеспечивать проколы встречному транспорту. Напарник пошел за ним. Паша, высказавши по поводу всех проколыщиков несколько непечатных, но не переходящих на критику государства мыслей, сел на свое место и принялся звонить по мобильному в службу технической помощи, чтобы привезли запаску.

А я, воспользовавшись неожиданной паузой, вышел размяться и подышать свежим воздухом.

На мокром от только что прошедшего дождя асфальте желтым расплавленным и расплывшимся маслом отражались огни уличных фонарей. Фары проносящихся автомобилей отражались полосами, которые мгновенно вытягивались, сокращались и исчезали. Вечер неожиданно для этого времени года и суток был теплый. Я расстегнул куртку и, заложив руки за спину, пошел гулять по тротуару, туда-сюда. Когда второй раз шел туда, кто-то меня окликнул по имени-отчеству. Я повернул голову и увидел вылезавшего из черного «Мерседеса» некрупного человека в сером демисезонном пальто с черным бархатным воротником и в фетровой шляпе-котелке с загнутыми полями, такие головные уборы, по моим представлениям, носили в девятнадцатом веке.

— Добрый вечер, — сказал этот человек и протянул мне руку с маленькой и, как я почему-то подумал, потной ладошкой и обручальным кольцом на безымянном пальце. Прежде чем ответить обратным жестом, я пристально взгляделся и увидел перед собой человека неопределенного возраста, огуречной наружности, с лицом, не имеющим ни одной индивидуальной черты, хотя именно этим оно мне показалось очень знакомым.

Тем не менее...

— Не имею чести, — сказал я холодно и от рукопожатия уклонился.

— Ну как же, как же-с, — проговорил обладатель котелка, подражая, очевидно, какому-то литературному персонажу из далекого прошлого, когда в моде были такие головные уборы. При этом руку опускал медленно, очевидно, надеясь, что, если я передумаю, ему не нужно будет опять поднимать ее высоко. — Мы ведь с вами встречались. И имели очень обстоятельную, так сказать, беседу-с.

— Мы с вами встречались? — Я взгляделся в него еще пристальней и вскрикнул не радостно, но удивленно: — Иван Иванович!

— Он самый, — самодовольно осклабился Иван Иванович, но руку

повторно протягивать не решился.

А я смотрел на него и удивлялся, как же я сразу его не узнал. Его лицо, конечно, совершенно незапоминаемо, но, представьте себе, именно этой абсолютной незапоминаемостью и запоминается. Теперь я, конечно, его узнал. Это был тот самый Иван Иванович... то есть Иван Иванович это, понятно, выдуманное имя. Кто выдумывал, не слишком-то напрягался, да и задача не требовала напряжения. Они все были тогда и, наверное, сейчас Иваны Ивановичи, Николаи Николаевичи, Петры Петровичи, Владимиры Владимировичи, чтоб нам легче запомнить и им не сбиваться... так вот это был тот самый Иван Иванович, который жарким летним днем какого-то очень давнего года допрашивал меня в душном кабинете... то есть, прошу прощения, не допрашивал, а спрашивал (формально это был не допрос, а профилактическая беседа), почему я пишу упаднические, как ему казалось, тексты... Все у вас, говорил, жизнь какая-то грустная, приземленная, герои бескрылые, а ведь на самом деле... И он мне тогда тоже раскрывал глаза на наши достижения, военную мощь и космические успехи, обещал помочь овладеть оптимистическим взглядом на жизнь и угрожал печальными для меня последствиями, если я не приму его помощи, а о нашей беседе кому-нибудь расскажу.

— Но позвольте, — сказал я, ведь мы с вами встречались чуть ли не в середине прошлого века, а вам тогда уже было, как мне казалось, ну не меньше чем за пятьдесят.

— Прекрасная память! — похвалил он меня. — Мне действительно было немного за пятьдесят. Мне и сейчас примерно около того же.

— Как же так получается?

— А вот так и получается. — Он слегка развел короткими ручками. — Вы ведь мудрый человек, очень интересуетесь людьми моей профессии и давно могли бы заметить, что мы, как бы вам сказать, не стареем, а движемся вместе со временем... Поэтому, как говорится, вы приходите и уходите, а мы остаемся. Что поделаешь, служба такая, не отпускает. И стареть нам нет ни времени, ни причины-с. Но что мы все обо мне, давайте о вас. Куда путь держим, если не секрет?

Я охотно ему поведал, что еду в институт Склифосовского, никаких тайн не имею, антигосударственных мыслей (соврал, конечно) в голове не держу, потому что мне сейчас не до них.

— А что такое? — Он поверил и забеспокоился отсутствием у меня антигосударственных мыслей, чего раньше за мной вроде как не замечалось.

Я рассказал ему про клеща.

— Ах, вот оно что! Наконец-то вы сами заметили. Так ведь он, этот клещ, давно в вас сидит. Что смотрите на меня? Разве не так?

— Не так, — сказал я. — Вы имеете в виду условного клеща, а я вам говорю про реального, про насекомое, которое влезло мне вот сюда в живот и вовсе не условно, а физически.

— Ну, это как раз ерунда, — отмахнулся он. — Этого клеща любая медсестра из вас в один момент выковыряет, — а вот этот, который сидит у вас здесь, — он постучал себя по лбу, — с ним даже мы справиться не можем. То есть можем, но не всегда.

— Очень вам сочувствую, — говорю. — С другой стороны, если б нас, таких, как я, не было, вы бы все были безработными.

— Это верно, — вздохнул он, — но я, собственно, не из личной выгоды, а исключительно ради познания наблюдаю и думаю. Вот вы, начиная со всяких там народников, все проявляете недовольство властью, печетесь за народ, а ведь народ-то вас об этом не просит.

— Не просит, потому что сам выгоды своей не понимает.

— Очень даже понимает, — возразил мой собеседник. — Лучше вас понимает. Его выгода состоит в том, чтобы все было, как есть, по заведенному издревле порядку. Он понимает, что жизнь так устроена, что с одной стороны — он, а с другой — господа, или начальство, или, как это называется, то есть люди, которые берут на себя труд за него думать и им руководить. Говорить ему, как жить, кормиться и умирать. Его такое разделение труда устраивает, а вы испокон веков зовете, насильно тащите его к чему-то такому, чего он не понимает, и поэтому всегда готов вас сдать нам. Народники, помните, по деревням ходили, грамоте крестьян учили, чтоб прокламации могли понимать. Так эти же крестьяне в полицию их сдавали. Так было тогда, так есть и сейчас. Если вести отсчет хотя бы от Радищева, то за две сотни с лишком лет тысячи людей, боровшихся за так называемое народное счастье, сгинули, пропали, как говорится, ни за понюх табаку, а народ этого даже и не заметил. Так стоят ли такой цены ваши усилия? Подумайте лучше о себе. Чего вам не хватает? Все у вас лично сейчас есть. Ваши книжки печатают, хотя я бы, на мой вкус, кое-какие главки все-таки выкинул и кое-что попросил бы вас переписать, но мы этого не делаем, а что касается народа, то он, если вы примечаете, сыт, одет, обут и властью доволен. Всегда доволен, во всяком случае, она всегда может в этом его убедить. Вы вот все кричите: народ бедствует, а он не бедствует, он просто живет скромно, как привык. Хлеб, картошка, соленый огурчик, бутылка с получки, ему ничего больше не надо. Ему лишь бы войны не было.

— Вот именно, — сказал я, — лишь бы войны не было. Но вы же без войны не можете. Вы уже сто лет ведете войну с собственным народом, а как только возникает возможность или вам кажется, что она возникла, лезете наводить порядок к соседям. Зачем вы туда лезете? Что вы там потеряли?

— Мы, — сказал он, — восстанавливаем историческую справедливость. Мы объединяем весь русский мир, и мы его объединим независимо от того, нравится это вам или не нравится.

— Вы русский мир объедините, а зачем? — спросил я и этим вопросом поставил его в тупик.

— Что значит зачем? Что значит зачем? Что значит зачем? — трижды он повторил мой вопрос, пока обдумывал возражение. — Что значит зачем? — спросил он в четвертый раз и ответил своим вопросом: — А то, что мы самый разделенный в мире народ, а то, что двадцать пять миллионов русских вынуждены жить за пределами России — это вас не волнует?

— А чего ж мне волноваться, я-то живу в пределах. А если вас судьба двадцати пяти миллионов волнует, так позовите их сюда, в Россию, дешевле будет, чем захватывать их вместе с территориями. У нас, — уточнил я, — страна большая, малозаселенная. И пятьдесят миллионов бы легко разместились, так что и не заметишь. Так позовите их.

Иван Иванович смутился и помрачнел.

— Так зовем же.

— И что же?

Он насупился и неохотно сказал:

— Не едут, сволочи. Уж мы им все обещаем. Жилье построить. Работой обеспечить. А они опасаются, что обманем.

— Ну и не зря опасаются. Вы же нам всем коммунизм обещали построить, а построили ГУЛАГ. Вот они, разделенные, и опасаются, что вы им то же самое снова постройте.

— Ерунда это все, — сказал он. — ГУЛАГ остался в далеком прошлом, и нечего его без конца поминать. То время прошло, и теперь у вас все хорошо. Книжки печатаются, гонорары текут, живите в свое удовольствие. Езжайте на курорт, купайтесь, загорайтесь, читайте, наслаждайтесь природой, рисуйте или фотографируйте, наконец. Это безопасно. Запомните, жизнь коротка и неисправима, старайтесь взять от нее все, что удастся, и радуйтесь ей такой, какая есть. А если вы не опомнитесь, то...

— То вы меня посадите?

— Нет, — поморщился он, — посадить это последнее, что бы мы с вами сделали. Посадить вас — это глупо и, как выражаются умные люди, контрпродуктивно. Конечно, при случае можно и посадить, но шуму-то будет... сами знаете. Однако есть же всякие другие способы, ну, как бы вам сказать, избавления от назойливого персонажа, радикальные, совершенно бесшумные, вызывающие подозрения, но недоказуемые.

— Вы имеете в виду...

— Вот именно то, что вы подумали. Со всяким человеком может случиться инфаркт, инсульт. Ну, можно утонуть, разбиться на машине и, наконец, — на лице его заиграла блудливая улыбка, — клещик может оказаться все-таки энцефалитным. Впрочем, будьте пока здоровы. Тем более что вам, кажется, привезли то, чего вы ожидали.

В самом деле подъехал микроавтобус оранжевого цвета с надписью по бокам: ТЕХПОМОЩЬ.

— Мы еще увидимся, — сказал мне Иван Иванович и дернул правой рукой, очевидно, намереваясь мне ее протянуть. Но опомнился, не протянул и полез в свой «Мерседес».

А из техпомощи выскочили два молодых человека спортивного вида в синих новеньких спецовках, с вышитыми желтыми нитками именами Василий и Никифор и в почти белых нитяных перчатках. Не говоря лишних слов, они колесо сняли, размонтировали, шину завулканизировали, колесо собрали, поставили на место, посмотрели выразительно на Пашу, поняли, что с него ничего не возьмешь, и Василий сказал:

— Ладно, чего там.

А Никифор посоветовал:

— Ехай, старик, как хочешь, но под ноги поглядывай. И через Крещатик не вздумай, там все перекрыто. На Майдане укры бузят и крыши палят.

Парни уехали, а я стал думать, что это они сказали? Какой Крещатик, какой Майдан и кто такие укры? И то и другое, насколько я помнил, находится в другой стране, в другом городе, а мы хотя и на шоссе имени того города, но приближаемся к Московской, а не имени того города автодороге. «Чушь какая-то», — сказал я себе, но посоветовал Паше переместиться от греха подальше через Боровское и Минское шоссе на Можайское, по которому точно к тому городу, в котором Майдан, не попадешь.

Кто думает, что живет хорошо, живет хорошо

Мы поехали дальше, и я (надо же было мне чем-то заняться) задумался над словами Ивана Ивановича. И опять пришел к мысли, что он, в общем-то, прав. У меня ведь, в самом деле, в сущности все хорошо, кроме клеща, возраста и здоровья. А что народу у нас не вполне хорошо живется, так пусть народ сам за себя борется или хотя бы не отдает свои голоса за тех, кто делает его жизнь такой, какая есть. А если девяносто процентов этого народа хотят того, что с ними делает власть, пусть они за это все и расплачиваются и не рассчитывают на мое сочувствие. Если бы я был правителем какого-нибудь государства, я бы сделал так, что все платят за то, что одобряют. Пусть все приверженцы социализма соберутся вместе и строят социализм для себя. Раздельно пусть живут сторонники монархии, республики, диктатуры. Или так. Например, в Германии все платят общие налоги — на содержание правительственного аппарата, на армию, полицию, ремонт дорог и так далее. Но есть отдельные налоги по интересам. Католики платят налог на католическую церковь, а протестанты, естественно, на свою. Но атеисты и агностики церковный налог не платят. Например, в нашем случае должно быть, допустим, так. Нравится тебе Ленин, хочешь и дальше лицезреть его в Мавзолее, плати специальный налог. Если бы до присоединения нами каких-нибудь территорий народ спросили, кто готов за это платить из своего кармана, и назвали бы примерную сумму, мы бы и дальше ездили туда в качестве желаемых иностранцев. Но правительство народ не предупреждает, а народ сам по себе не соображает. Времена Радищева, когда народ был темный, забитый, неграмотный, давно прошли. Теперешний народ имеет телевизор, компьютер и Интернет, и если до сих пор 90 процентов ведут себя как темные и неграмотные мужики восемнадцатого века, то они никакого сочувствия не достойны. Тем более что нет уважительной причины. Потому что, если народ живет плохо, но думает, что живет хорошо, значит, он живет хорошо. А если он живет хорошо, но думает, что живет плохо, тогда он и правда плохо живет. (Копируйте мой. При цитировании ссылка на автора обязательна.) Большинство людей любят спокойную жизнь и живут спокойно, пока в их среде не возникнет ситуация, побуждающая их к восстанию против власти. Наиболее оправданный повод к восстанию —

голод. Но голодные люди редко восстают, потому что не имеют сил на восстание. Поэтому чаще восстают люди, которым не хватает какой-нибудь ерунды, а силенок достаточно, чтобы что-нибудь сокрушить. Но чаще всего они восстают, когда у них всего в избытке, но жизнь без войны и стрельбы кажется им слишком скучной, и иногда хочется собраться всем вместе, пойти на штурм чего-нибудь, чем-нибудь овладеть, кого-нибудь скинуть с высокого сиденья, чтобы посадить на его место другого, который когда-нибудь станет таким же, как скинутый. Такие вот мысли посетили меня после свидания с Иваном Ивановичем. Согласен, мысли чепуховые, за что я прошу прощения у моих читателей, которые, имея обо мне незаслуженно высокое мнение, полагают, что я всегда, подобно Семигудилову, думаю о чем-то великом, масштабном, мистическом, божественном и сакральном. О тайнах мироздания, смысле бытия, историческом предназначении России и глубинах непознаваемой русской души. Это не так. Когда сижу перед компьютером и сочиняю тот или иной текст, думаю только о том, как лучше построить очередную фразу. При этом сижу и как будто бессмысленно смотрю на экран. Обычно в это время ко мне в комнату врывается Шура с пылесосом и тут же его включает, чем выводит меня из оцепенения.

— Что ты делаешь? — говорю я ей, выдернув шнур. — Ты не видишь, что я работаю?

Она убежденно возражает:

— Вы не работаете!

— А чем я сейчас, по-твоему, занят?

— Вы сидите с открытым ртом и смотрите на компьютер.

— Но ты разве не понимаешь, что я не просто так сижу с открытым ртом и смотрю на компьютер? Когда я сижу с открытым ртом и смотрю на компьютер, я о чем-то думаю.

— Вот именно, — говорит, — думаете, а не работаете. Когда вы работаете, я вижу. Тогда вы так по клавишам пальчиками тюкаете.

Так уверенно говорит, что я даже и сердиться на нее не могу, но объясняю, хотя понимаю бесполезность усилий, что, прежде чем пальцами что-то вытюкивать, надо мозгами что-то обмозговать.

Живее всех живых

С неким человеком у меня был такой разговор. Он спросил меня, осуждаю ли я художников Шарли за их карикатуры на Магомета. Я сказал, нет. Но сам стал бы их рисовать, если б умел? Не стал бы. Почему? Есть много вещей, которые я сам бы не делал, но не осуждаю тех, кто делает. Я бы не стал рисовать карикатуры на чьих бы то ни было святых, потому что мне это неинтересно и к тому же я не имею желания обижать других людей без причины. Например, я говорил раньше «на Украине», но с тех пор, как узнал, что каким-то украинцам это кажется обидным, поменял предлог «на» на «в». Причина для обиды не кажется мне серьезной, но раз она есть, я готов с нею считаться. Есть русские, которых обижает то, что часть речи «русский», в отличие от всех других определенно существительных (немец, француз, украинец и т. д.), выглядит как прилагательное. Вообще национально или религиозно обидчивых людей развелось слишком много, и чем дальше, тем они чувствительней и агрессивней. В одном месте женщину могут убить за то, что она не закрывает лицо, в другом могут побить (но все же не убить) за то, что закрывает. Радикальные исповедники ислама авторов карикатур расстреляли. Некоторых воинствующих православных от подобных расправ удерживает только уголовный кодекс и неготовность за свою веру самим умирать. В городе Тутцинге, недалеко от Мюнхена, есть Евангелическая академия. В холле главного здания висит картина, на которой изображены двенадцать едоков с вилками и ножами, поедающими лежащего на столе мертвого человека. Картина очень реалистическая: куски мяса насажены на вилки, часть ребер уже обглодана. Поедаемый человек — это Иисус Христос, а поедающие — апостолы. Это, напоминая, висит не в каком-нибудь богохульном притоне, а во вполне религиозном учреждении. Насколько я понимаю содержание картины, это насмешка над католиками, вкушающими при определенных обрядах хлеб как тело Христово и пьющими вино как Христову кровь. Картина висит, католики не обижаются и никого не громят. Насмешка над святынями омерзительна, если выражается какими-нибудь варварскими физическими действиями, наносящими реальный вред предметам поклонения. Большевики смертельно оскорбляли верующих, когда рубили иконы, сбивали с колоколен кресты, а церкви превращали в свинарники или картофелехранилища. Но словесная или изобразительная насмешка над религиозными верованиями — дело морально вполне допустимое и даже

естественное. Атеист, имеющий научное представление о происхождении Вселенной, не может относиться всерьез к библейской версии сотворения мира. Он имеет право не верить в непорочное зачатие, в хождение Христа по воде «яко посуху», воспринимать подобные рассказы юмористически. Так же, как верующий человек имеет право смеяться над теорией эволюции, происхождением человека от обезьяны и вообще над неверием, что, например, сделал Булгаков в «Мастере и Маргарите». Так вот мое мнение: сомневаться в любой вере и относиться к ней иронически можно, а к неизменным спутникам веры — ханжеству и лицемерию — тем более. Но тут важна цель. Целью может быть сомнение в данной вере, что допустимо, или намеренное оскорбление верующих, чего, я считаю, делать не стоит. Здравому подходу к этой проблеме мешают фанатики разных вер, истинные или изображающие таковых. Эти люди, когда есть возможность использовать определенную ситуацию, стараются захватить площадку пошире, и все больше людей, предметов и символов объявляют священными, неприкосновенными, защищенными от критики и от шуток. А вера может быть вовсе не религиозная, а даже наоборот. У нас еще совсем недавно Ленин, законченный безбожник, был, а для кого-то, может быть, и остался, фигурой религиозного поклонения. Ленину приписывались немыслимые качества, и многие люди не могли себе представить, что ему, как Марксу, было не чуждо кое-что человеческое. Помню, мама моя говорила своей подруге, что она не может себе представить, что Ленин ходил в уборную. И подруга призналась, что она тоже не может себе представить. И миллионы людей не смели даже помыслить, что Сталин (но здесь речь не о нем) может когда-нибудь умереть. Я хорошо помню время (мои детство, юность, молодые годы), когда никакая критика Ленина не допускалась, а первые фривольные шутки о нем воспринимались людьми как ужасное кощунство. И не только о нем. Один известный поэт уже в девяностые годы, когда время обольщения «героями революции» в обществе давно прошло, гордясь своей преданностью устаревшим идеалам, писал, что в молодости готов был дать в морду любому, кто позволит себе рассказать анекдот о Чапаеве.

Кто читал мои работы, тот, может быть, заметил, что я немало сил и времени потратил на феномен, который называется культа личности, на попытки понять, как этот культ возникает, развивается и закрепляется в умах людей. И как он в некоторых случаях безнадежно рушится. Как какая-нибудь неприметная личность вдруг становится предметом массового обожания, как миллионы людей начинают наделять ее достоинствами, которые в ней имеются в скромных пропорциях или вовсе отсутствуют. Ну,

не обязательно неприметная, бывает, что обращающая на себя внимание, но имеющая качества, противоположные приписываемым. Например, тот же Ленин. Будучи молодым и недостаточно образованным человеком, я встретил большое число людей, которые, в отличие от меня, имели по несколько высших образований и ученые степени и прочли много толстых книг, в том числе все собрание сочинений Владимира Ильича. Они ленинские тома не только прочитали от корки до корки, а проштудировали с карандашиком в руках, что-то там подчеркивали, ставили на полях восклицательные знаки. Прочитанные фразы или абзацы оценивали как Зд. Отл. Вел. Ген., что значило здорово, отлично, великолепно, гениально. Одним из таких ученых-ленинцев был писатель Борис Яковлев (Хольцман), он не читал никого, кроме Ленина, но Ленина перечитывал везде, включая туалет, где у него была специальная «ленинская полка», знал его всего наизусть, он написал о Ленине много томов и тоже уверял меня в сверхгениальности и необычайной доброте своего героя. Я уже весьма скептически относился ко всем уверениям казенной советской пропаганды и с отвращением — к личности Сталина. О нем я имел свое представление. А вот Ленин... Он мне тоже чем-то не нравился. Но эти люди, которые были о нем столь высокого мнения... У меня не было оснований не доверять им, сомневаться в их компетентности, подозревать в нечестности, в корысти, предвзятости. Они меня страстно уверяли в сверхчеловеческих интеллектуальных способностях Владимира Ильича, в том, что он действительно гений, какие рождаются, может быть, раз в тысячу лет, а и в тысячу лет не рождаются. Помню такой разговор. Некий врач, доктор наук, профессор, с восхищением рассказывал мне о Владимире Хавкине, бактериологе, который изобрел вакцины от холеры и чумы, ту и другую испытал на себе, и в Индии спас от смерти миллионы людей. Я, тогда уже начавший сомневаться в Ленине, сказал профессору, что заслуги людей оцениваются несправедливо. Вот можно ли сравнить достижения Ленина и Хавкина? Хавкин спас от чумы миллионы людей, а Ленин? Мне мой вопрос казался вполне естественным и невинным, но профессор воспринял его как чудовищное кощунство. Он вскочил на ноги, замахал руками, засверкал глазами. «Хавкин, — закричал он, — спас миллионы людей, а Ленин избавил от чумы все человечество!» (Я не сразу, а потом, задним числом, придумал возражение, что Ленин не спас от чумы, а привил чуму и испытал ее почти на всем человечестве.)

Другие люди, пытавшиеся меня просветить, говорили, что Ленин — величайший гений всех времен и народов. В его трудах есть настолько исчерпывающие ответы на все вопросы, что, освоив эти труды, ничего

другого можно уже не читать. Он предсказал развитие человечества на много десятилетий или даже столетий вперед. Мнение этих людей меня сильно смущало. Оно противоречило тому, что мне говорило мое собственное некомпетентное представление о предмете. Но кому я должен был поверить, самому себе, не прошедшему полностью даже среднюю школу, или им, много прожившим, много чего испытавшим, прочитавшим и заучившим все его многотомные сочинения наизусть? Я спрашивал, как же так? Неужели он все предвидел? Предвидел сталинскую диктатуру, колхозы, концентрационные лагеря, террор тридцать седьмого года? Некоторые выходили из положения так: он предвидел все, но вот перерождения партии представить себе не мог. То есть, если бы партия не переродилась, было бы все, как он предсказывал.

А она, между прочим, и не перерождалась. Она с самого начала занималась массовым террором, и члены ее, включая самого Ленина и его соратников, против террора ничего не имели, пока он не коснулся их самих. А когда коснулся, большинство из них ничего не поняли. Понял мой отец, который однажды сказал мне, что свои пять лет лагерей вполне заслужил своим участием в преступной организации ВКП(б).

Ленин не ожидал, что крестьянство окажется таким консервативным, а городская среда столь мещанской. Но, спрашивал я этих людей, если он не представлял, не предусмотрел и не ожидал, в чем же тогда его гениальность? Ведь гений — это человек, который представляет, предвидит и предусматривает. В конце концов эти большеголовые люди (многие из них сами, кстати, сидели) останавливались и, не зная, что мне ответить, или сердились, или прекращали разговор и смотрели на меня с сожалением и насмешкой, как на человека, неспособного усвоить очевидное, и советовали мне читать Ленина, вникнуть в Ленина, тогда истина откроется мне во всем своем ослепительном блеске, и мне не придется задавать те наивные вопросы, которые я задаю теперь.

Мой старший друг Игорь Александрович Сац завидовал мне, что мне еще предстоит открыть для себя Ленина и испытать то величайшее счастье первооткрытия, которое он, Игорь Александрович, уже испытал. Я спрашивал его: а сейчас, читая Ленина, разве вы не испытываете того же чувства? Он объяснял мне доходчиво, что когда человек в тысячный раз занимается сексом, он испытывает удовольствие, но оно несравнимо с восторгом первого раза. Разумеется, Сац так же, как и его единомышленники, был уверен, что Ленин был человек добрый, по словам Маяковского, «самый человечный из всех прошедших по земле людей». Это отчасти поддерживалось и официальной пропагандой, но с поправкой,

что «Ленин был добрый, но не добренький». То есть добрый по-большевистски, к единомышленникам, но не к врагам (а врагами у него были помещики, капиталисты, священники, проститутки, торговые люди, члены царской фамилии и прочие, прочие, прочие). Нет, не добрым и не самым человечным был этот человек, а холодным и жестоким массовым убийцей, что ни от кого не скрывалось и подтверждено его опубликованными многими записками насчет необходимости беспощадного красного террора, указаниями разным функционерам новой России расстрелять белогвардейцев, кулаков, попов, проституток и прочих. Именно — не привлечь к ответственности, не судить, а расстрелять, и без проволочек, с уточнениями вроде «чем больше, тем лучше», с определением приблизительного числа: «пятьдесят или сто», то есть скопом. И ведь все это было напечатано во всех его собраниях сочинений, и все это те самые образованные лениноведы читали, подчеркивали, заучивали — и что? Они не понимали смысла этих записок? Но ведь были люди, которые понимали. Например, Максим Горький. С чтения горьковских «Несвоевременных мыслей» у меня и начались сомнения, которые привели меня к тем же выводам, к которым пришел Венедикт Ерофеев («Моя маленькая Лениниана»).

Когда в пятидесятых годах двадцатого века было (не полностью, но в значительной степени) покончено со сталинским произволом, когда Хрущев выпустил на волю миллионы жертв сталинских репрессий, стало модно говорить о гуманизме, справедливости и возвращении к ленинским нормам. Считалось, что наказывать человека по ленинским нормам — это значит — за реальные преступления, по закону и в соответствии со статьями уголовного кодекса. Но как раз именно при Ленине нормой стало абсолютное беззаконие, когда какую-то категорию людей можно было расстреливать без всякого персонального разбирательства, когда судьям велено было руководствоваться своим революционным правосознанием. Но не буду дальше ломиться в открытые двери. К настоящему времени о жестокости и бездушии Ленина сказано достаточно другими авторами. А вот его умственные способности подвергались ли кем-то сомнению? Вероятно, но я не читал. И выскажу свое мнение, которое еще недавно большинством читателей было бы воспринято как дерзкое и кощунственное. Ленин был не только не гением, но и просто был очень неумен. Легенда гласит, что его мозг, который где-то хранится и, может быть, до сих пор изучается, необычно велик по своим параметрам в смысле объема и веса (два килограмма). Если это так, то это доказывает только то, что и большой мозг может вырабатывать много глупостей. Двух

килограммов мозга Ленину хватило на интриги по захвату и удержанию власти, но не на то, чтобы понять или поверить более умным людям, что насилие родит насилие и зло порождает зло. Что насилием ничего похожего на общество свободы, равенства, братства, справедливости и всеобщего благоденствия построить нельзя. Насилием можно было создать только общество, где процветали страх, ложь, лицемерие, ханжество, воровство, стукачество, недоверие людей друг к другу, неверие ни во что и полный развал хозяйства. Что и было создано в результате семидесятилетнего, вполне соответствовавшего ленинскому учению насилия над большим народом. Если и оставались в этом обществе относительно честные и гуманные люди, то только вопреки, а не благодаря системе, все-таки не сумевшей за семьдесят лет окончательно вытравить в людях все человеческое. Если предположить, что именно такое общество Ленин мечтал построить, тогда можно считать, что он был довольно умен. Если же его мечтой был коммунизм — светлое будущее человечества, то выбранный им путь к этому идеалу говорит о том, что он был элементарно глуп. То есть не гений, а просто дурак. Злобный дурак, овладевший чудовищной властью, чем способствовали окружавшие его тоже очень неумные, самонадеянные люди, многие из которых за свои действия жестоко поплатились.

Так я еще раз самого себя спрашиваю: как могло случиться, что десятки лет миллионы людей поклонялись этому чудовищу и считали его уникальным кладезем ума и носителем всех человеческих добродетелей? Ну, допустим, ладно, так называемые простые люди, сами ничего не зная, доверяли более образованным и более, как они думали, умным. Но образованные и умные читали труды своего кумира, в которых черным по белому было написано: повесить, расстрелять, поставить к стенке. Почему они читали одно, а прочитывали другое? А вот как раз потому, что им был доступен только один взгляд на эту личность (как и на личность Сталина). Сомневаться в достоинствах, критиковать ее, а тем более подвергать насмешкам в анекдотах и карикатурах считалось ужас каким кощунством.

Феномен кумиротворения меня занимает давно. Стремление возвести ту или иную личность в ранг культовой кажется мне нашей главной бедой, родом национальной болезни, от которой наше общество не может никак излечиться и отчего в целом остается безнадежно невзрослым. Оно всегда ищет и в конце концов находит очередного дядю, который все знает, все видит, все предвидит, в ком нельзя сомневаться и над кем, как над священной коровой, нельзя шутить. И чем больше нельзя, тем более он смешон.

Стали называть его Перлигосом

От мыслей о Ленине я перескочил к нашему недавнему прошлому и настоящему, задумался о культе новой личности, который зарождается на моих глазах. Вспомнились девяностые годы, которые для кого-то были лихими, а для меня годами больших надежд. Надежды, кроме всего, на то, что ненавистный режим рухнул, а с ним ушли в прошлое его пороки и среди них склонность людей к созданию новых культов. Но время надежд сменилось временем смутным. Война на Кавказе, взрывы домов в Москве, убийства политиков, журналистов и бизнесменов. Все это принесла с собой объявленная свобода. Одни воспользовались ею и рванули на Запад. Другие увидели, что в родных пределах есть чем поживиться, и пожились. Немногие пытались воспользоваться выпавшим для России шансом превратить Россию в свободную демократическую страну европейского типа. Одни гибли, другие богатели, третьи нищали. Раздувались и лопались репутации. Помню, как тогдашний наш вождь вывел за ручку маленького человечка с острым носиком и тонкими губками и сказал: вот теперь он будет ваш отец и учитель. Все удивились, потому что до того человечек был известен только тем, что служил ординарцем у большого градоначальника и носил за ним его раздутый портфель. Иностранцы не знали о нем даже и этого и поначалу задавались вопросом: «Who is this guy?» Человечек стоял перед удивленным народом, обводил всех оловянными глазами, а потом тихо сказал: «Замочу!» И хотя сказанное слово было почти плагиатом из одного сочинителя позапрошлого века, народ, того сочинителя не читавший, в маленьком человечке сразу признал человека большого и взревел от восторга. Мужчинам он сразу показался выше ростом и шире в плечах, а женщины восхищались его статью, походкой и при виде его испытывали что-то похожее на оргазм. А он, пользуясь любовью народных масс, решительно взялся за дело и начал с того, что повелел всем петь старую песню. Потом обыкновенную демократию перестроил в вертикальную и суверенную, все богатства земли распределил между своими, но какие-то куски кидал народу, и тот с благодарностью это, говоря по-нашему, хавал, полагая, что, имея такое питание, всякими глупостями вроде свободы и демократии можно и пренебречь. Замечу попутно, что свобода поначалу кажется хорошим обменным товаром. Сначала ее меняют на еду, потом на то, чтоб всегда было не хуже, чем сейчас (стабильность), потом на безопасность и только

потом-потом оказывается, что нет ни еды, ни безопасности, ни стабильности, ни свободы. При Перлигосе народ уверовал, что никогда так хорошо не жил, как при нем, и задавался вопросом: если не он, так кто?

Мы и гренки

Акуша с некоторых пор говорит: «Нам, старик, надо переменить образ мыслей или валить отсюда, пока не поздно». Мысль, что надо валить, была популярной в семидесятые годы прошлого века и теперь вошла в более широкую моду. Тогда были еще какие-то надежды, что рухнет тогдашняя власть и наступит что-то хорошее. А наступил хаос. Из хаоса вылупилось, и немедленно, сегодняшнее неизвестно что и закрепилось на неизвестно какое время. И опять надо или бороться, или валить. Валить как-то не хочется, а бороться тем более. Тем более что неизвестно, с кем и за что. Раньше идеалисты боролись за народное счастье и надеялись, что народ их когда-то поймет и оценит. Народ было принято любить и уважать. Считалось, что он мудр, сам со временем во всем разберется. Со временем стало ясно, что народ — это большая масса людей, в общем довольно неумная, которая никогда ни в чем не разберется. В лучшем случае доверит разбирательство отдельным умным, которые свои умы направляют на то, чтобы оставить народ в дураках. Народ не знает никто, и сам он не знает, что он такое и чего бы хотел. Его можно настроить на что-то хорошее, но легче всего целиком склонить к чему угодно плохому. Один мудрый американец говорил, что можно долго обманывать немногих людей, можно недолго обманывать многих, но нельзя бесконечно обманывать всех. Он ошибался. Наша практика показала, что всех как раз можно обманывать без конца. Обманываемых можно было бы пожалеть, но они, обманываясь сами, готовы признать врагами тех, кто не поддается обману. У человека, который не верит лжи, предназначенной для народа, есть выбор из двух возможностей: 1) говорить, что он этой лжи не верит, и тем самым навлечь на себя гнев государства, а то и самого народа и 2) делать вид, что он всему этому верит, и самому лгать, что он этому верит, и если он будет так притворяться, то в конце концов станет таким же лжецом непритворным, как те, которые изначально лгали ему. Окуджава когда-то написал: «Дураком быть выгодно, но очень не хочется, умным быть хочется, но кончится битьем...» А по-моему, наоборот. Я знал людей, которые хотели быть дураками, но у них это не всегда получалось. Потому что были недостаточно умны. По-настоящему умен был тот, кто умел скрыть свой ум так, что действительно выглядел дураком. Но иногда скрывал так умело, что в конце концов становился дураком неподдельным.

— А я вот, знаете, — говорит Зинуля, — бывает, проснусь утром и

думаю, почему тебе, Зинка, так повезло, что ты родилась не где-нибудь, а в России, в самой лучшей стране. Вы со мной согласны?

— А вы в других странах бывали?

— Была в Турции и Болгарии.

— И все?

— И хватит. Ничего хорошего там нет. А наша страна, это же какие просторы! Это поля, леса, реки, озера. На всем свете нет такой природы и нет такого народа. Вы со мной согласны?

— Я-то согласен, — сказал я. — Но был один человек, который считал иначе. Он сказал: «Догадал меня черт с умом и талантом родиться в России».

— И кто был этот дурак?

— Пушкин.

— Тогда извините, — просто сказала Зинуля, а я заснул.

И приснилось мне, что я Пушкин, сижу за компьютером, пишу про клеща и вдруг является Пуцин и говорит мне:

— Сашок!

Я говорю:

— Чего?

— Слыхал, говорит, мы остров взяли.

— Какой остров?

— Большой.

— Очень большой?

— Больше не бывает.

Проснувшись, вижу, что никакого Пуцина нет, я в машине, машина стоит, Зинуля танцует, хлопает в ладоши и в такт своему танцу выкрикивает: «Гренаша! Гренаша! Гренаша!» И Паша кричит: «Гренаша!» — и в такт своим крикам жмет на клаксон. Я стал думать, что за Гренаша? Гренада, что ли? Нет, они кричат: «Гренаша». Я смотрел то на одного, то на другого, перевел взгляд на Варвару, которая тоже смотрела на них с изумлением, а встретившись взглядом со мной, пожала плечами и показала мимикой, что сама к этому буйству не причастна. А эти продолжали беситься и выкрикивать: Гренаша! Тут Зинуля заметила, что я проснулся, кинулась ко мне с криком:

— Петр Ильич! Поздравляю! — крепко обняла меня и, не стесняясь присутствием Варвары, от всей души поцеловала в губы, да так смачно, что будь я чуть-чуть помоложе, ой, как бы я на это отреагировал, даже не могу вам сказать. Но тут я просто удивился, посмотрел на нее, ничего не соображая.

— Что? — говорю. — С чем? Опять колесо прокололи?

— Да какое там колесо, Петр Ильич! — закричала Зинуля. — Да, по мне, пусть они хоть все четыре проколются, но Гренландия наша!

Я говорю:

— Что-о?

Она мне:

— Остров Гренландия знаете?

— Слышал, — говорю. — Когда-то в школе учил. Большой остров, самый большой в мире, принадлежит Датскому королевству.

— Принадлежал. А теперь присоединился к России.

Я говорю:

— Опять бред? Симптом боррелиоза или энцефалита?

— Точно, — подтвердила Варвара, — у всей страны энцефалит и воспаление мозга.

— Может, это и так, — согласилась Зинуля, — но Гренландия наша.

И сразу она и Паша, взявшись за руки, стали мне рассказывать про отряд вежливых человечков, которые, пока я спал, переоделись в зеленое, высадились в Гренландии и устроили флеш-моб с целью защитить остров от датской фашистской хунты, собиравшейся устроить поголовный геноцид гренландцев, которых мы любовно называем гренками. Поскольку Гренландия остров большой, то нападать на него, а потому и оборонять никто не собирался, зеленые человечки захватили его без единого выстрела. Как только это случилось, все гренки сбежались на площадь, но не для оказания сопротивления, а для того, чтобы посмотреть на этих отважных русских освободителей, потому что до того никаких освободителей не встречали. Освободители же сообщили гренкам, что их остров объявляется священной и неделимой территорией Российской Федерации, а они все объявляются российскими гражданами. Они было заколебались и стали задавать освободителям неуместные вопросы на их местном наречии, но когда им объявили, что их зарплаты и пенсии сильно возрастут, они, не сообразив, что возрастание произойдет в рублях, дружно проголосовали «за» и тут же заговорили по-русски. Прослушав эту информацию, я включил свой айпэд, вышел в Интернет, нашел очередную передачу Владилена Индюшкина, в которой опять участвовали Семигудиллов, Поносов, Владик Коктейлев, два сбежавших из Гренландии гренка и один пророссийский датчанин, или, по-нашему, дат. От них узнал подробности. Оказывается, гренки на протяжении многих лет страдали оттого, что их угнетатели даты запрещали им свободно говорить на русском языке, который они очень любили, хотя никогда не знали. Коктейлев привел

неоспоримый исторический факт, что гренки — это такие же русские, как и мы, и отличаются от нас только тем, что изъясняются на другом языке. На что Поносов возразил, что и даты — это тоже такие же русские. И как только мы их освободим от них самих, они заговорят по-русски и будут счастливы. Потом все эти люди взялись за руки, а к ним присоединились и зрители, и все стали водить хоровод, повторяя громко: «Мы и гренки один народ! Мы и гренки один народ!»

Такое же ликование наступило и в нашей машине. Зинуля с Пашей взялись за руки, а к ним присоединилась, к моему удивлению, и Варвара, и они стали кружиться в машине, повторяя слова «Мы и гренки один народ! Мы и гренки один народ!» Я сначала смотрел на них, как на сумасшедших, но почувствовал, что и меня охватило столь же радостное состояние. И, забыв, куда и зачем я еду, я вклинился в их хоровод между Варварой и Пашей, тоже стал кричать: «Мы и гренки один народ!» Вместе с ними я выкатился из машины и оказался в толпе ликующих сограждан, которые представляли собой факельное шествие, или, точнее, шумный карнавал с факелами. Многие тысячи людей, обтекая нашу машину, шли неизвестно куда. Пританцовывая и распевая веселые песни. Над их головами реяли портреты любимого ими Перлигоса и транспаранты с лозунгами «Мы и гренки один народ!». Я тоже шел вместе с ними и радовался, что мы с гренками один народ и с датами один народ, и вдруг меня осенило, что мы, собственно говоря, со всеми народами один народ и что между нами и другими народами, которые не согласны считать себя с нами одним народом, есть один-единственный недостаток — то, что они не говорят по-русски. И в самом деле, у нас с ними и проблем никаких бы не было, если бы они не упирались и просто выучили русский язык, тем более что русский язык гораздо понятнее любого другого. Это доказано хотя бы тем, что вот у нас сто сорок миллионов населения, и почти все, и даже самые тупые из всех, легко его постигают. Эта мысль показалась мне достаточно важной, чтобы ее записать, но меня сильно клонило ко сну, и я опять погрузился в забытие с надеждой не забыть до пробуждения то, что увидел. Но забыть я не мог, потому что и во сне мне снилась Гренландия и ее ликующий, предвкушая высокие российские пенсии, гренландский народ. Во сне я продолжал ликовать вместе с ними, но в то же время меня тревожила мысль, а что же мы будем с этой территорией делать? Приглашать туристов? Бить моржей? Возить с нее снег для лыжных трасс в Сочи? Проснулся опять от резкого торможения. Меня прижало к спинке кресла. А клещ мой, как мне показалось, по инерции продвинулся в меня еще глубже.

— Что? — спросил я. — Что еще стало наше? Новая Зеландия?
— При чем тут Новая Зеландия? — встрепелась Зинуля.
— Ну если мы взяли Гренландию.
— Мы? Гренландию? Петр Ильич, что это вы говорите?
— А что я такого говорю? Разве мы не взяли Гренландию?
— Да как мы могли взять Гренландию? Вы представляете себе, где Гренландия, а где мы?

Я впал в задумчивое состояние и пребывал в нем минуту-две или даже больше, а потом вытряхнулся из него и спросил:

— И что — и вы хотите сказать, что мы ничего такого не брали?
— Зачем же впадать в крайности? Почему вам надо обязательно, чтобы мы взяли Гренландию или ничего. Нет, Гренландию мы не брали и брать не собирались, потому что она большая, холодная, покрытая льдами и никому не нужна, даже самим гренландцам. А мы взяли Крым.

— Крым? — переспросил я.
— Ну да, Крым. Он не такой большой, как Гренландия, зато в нем тепло, в нем Черное море, в нем Ялта, Алушка, Алушта и прочее. В нем пляжи, пальмы и кипарисы. А вы говорите Гренландия.

— Он перепутал, — вступилась за меня Варвара.
— Странно, — заметила Зинуля. — Как можно перепутать Гренландию с Крымом? Петр Ильич! — крикнула она мне в ухо.

Я вздрогнул от неожиданности.
— Тут дельце одно есть!
— Да не кричи ты, я не глухой. Какое еще дельце?
— Мужчина просит подкинуть. Не возражаете?
— Тоже с клещом?
— Да нет, с ружьем. Ему до Курского вокзала, это практически по пути. Возьмем?

— Как это возьмем? — спросил я не без удивления. — Вы же «Скорая помощь», везете больного.

— Ну, больного, больного, но не такой уж вы больной, — рассудила Зинуля. — А это ж практически по пути. Сделаем небольшой крюк, вам жалко?

— Дело не в том, что жалко не жалко. Но «Скорая помощь» не для того существует, чтобы возить кого ни попадя куда попало. Вы меня должны в больницу доставить. Мы же теряем время, за которое меня можно еще спасти.

— Ой, да чего вы беспокоитесь? У энцефалита инкубационный период семь дней. Уж за семь-то дней мы вас так или иначе доставим.

На шутку о семи днях я не ответил, но пробормотал, что это не дело «Скорой помощи» заниматься частным извозом.

Зинуля не стала спорить.

— Согласна с вами, не дело. Но если б вы знали, какие у нас зарплаты, вы бы удивились, что мы вообще еще с больными имеем дело. Но мы сейчас сделаем небольшой крюк, Павлик денежек подзаработает и мне шоколадку купит.

Второй Иван Иванович

Я сдался, и в машину влез странный человек в тяжелых сапогах, камуфляжном пуховике и черной вязаной шапке, надвинутой на глаза. В руках новый пассажир действительно держал ружье, но не охотничье, а какое-то очень крупного калибра, может быть, даже противотанковое. Влез в машину, ружье приткнул в углу со словами «осторожно, заряжено», затем каждому протянул руку для пожатия, представляясь:

— Иван Иванович. — И, не дожидаясь ответа, каждому сказал: — Очень приятно.

После чего сел в кресло рядом со мной и закурил. На замечание моей жены, что здесь курить вроде не полагается, он предъявил ей удостоверение, где было написано, что обладатель сего обладает особыми полномочиями и ему разрешается делать все, что угодно, где угодно, когда угодно, и представители власти на местах обязаны всячески способствовать ему в этом.

Мы с женой этому очень удивились, потому что никогда еще подобных документов не видели, и я стал Варваре подмигивать, чтобы она, раз уж такая важная птица к нам залетела, с ней не связывалась. Но Варвара, она же, вы знаете, отчаянная. Нисколько не смутившись это дурацкой ксивой, тут же заявила предъявителю, что раз он такой важный полномочный уполномоченный, ему надо ездить на персональном «Мерседесе» с мигалкой, а то даже и на бронетранспортере, да хоть и в танке, и там, если ему не хочется долго жить, он может курить, пить, нюхать, колоться при полном попустительстве остальных пассажиров и местных властей. А здесь никаких властей, кроме нее, Варвары, нет, и она ему не позволит курить при больном человеке. Я ожидал, что он начнет ей грубить, но Иван Иванович как-то смутился, съезжился и только сказал:

— Надо же, какие люди пошли, щепетильные!

Хотел, наверное, сказать чувствительные или избалованные, но за недостатком запаса слов сказал — щепетильные.

— Щепетильные, — повторил. — Одна сигарета. Что в ней плохого?

— Никотин, — сказала Варвара. — Одна капля никотина убивает лошадь.

— Глупости какие, — пробормотал Иван Иванович. — Чтобы это доказать, надо сначала научить лошадь курить.

Сигарету, однако, загасил. Сжал двумя пальцами кончик, поплевал на

него и окурок бережно положил под плащ в боковой карман. Помолчал, потом поинтересовался у меня:

— А вы тоже на Курский?

— Да нет, — говорю, — не на Курский.

— На Казанский?

— Не на Казанский.

Он перечислил все вокзалы, на каждый вопрос я отвечал отрицательно. Он принялся перебирать аэропорты: Домодедово, Шереметьево, Внуково...

— Да нет же, — говорю, — нет. В «Склиф» торопимся.

— В «Склиф», в больницу? — спросил он недоуменно и перешел на «ты». — Так ты чего, «трехсотый», что ли?

Тут Варвара опять вмешалась, сказав, что я не «трехсотый», а первый и единственный в своем роде. Но я-то знаю, что «трехсотый» — это значит раненый, и согласился, что можно считать и так, потому что моего клеща можно сравнить с неизвлеченной пулей. Он не понял и переспросил, какая пуля. Я объяснил, что на самом деле не пуля, а клещ.

Он подумал и сказал, что тоже попал в клещи под Славянском и еле выбрался.

Я спросил, а где это Славянск?

Он сказал: в ДНР. Я спросил, что такое ДНР? Он сказал: народная республика. Я переспросил: Датская? Он говорит: нет, Донецкая. Я спросил, а где это? Он всплеснул руками и перешел обратно на «вы»:

— Вы что, папаша, с неба свалились? Война уже полгода идет, а вы о ней ничего не слышали? А где же вы были?

Я, будучи человеком правдивым, вежливым и обстоятельным, объяснил, что был в лесу, собирал грибы, рассказал даже, какие именно собрал и сколько, а потом пришел домой, почувствовал зуд, вызвали «Скорую», вот едем, меня укачало, и я немного вздремнул, то, что мы Гренландией, то есть Крымом вроде как овладели, это я помню, но все эти ДНР-ЛНР пропустил, что простительно ввиду моего возраста и наличия в теле клеща.

Он выслушал это все с неподдельным интересом и изумлением и говорит:

— Я-то думал, вот оно что, а оно вот что. И это вы, значит, из-за этого клеща едете на «Скорой помощи» в больницу, да еще с мигалкой, с сиреной, людей среди ночи будите?

— А куда ж деваться? — говорю. — Если он во мне сидит.

— Да мало ли что в вас сидит. Во мне вот две пули сидят.

— Сравнили тоже! Пули, небось, не шевелятся, а этот меня грызет, и еще не факт, что он не энцефалитный и я от него не умру мучительной смертью.

— Ну и умрете, тоже беда небольшая. Наши ребята во цвете лет гибнут за Новороссию, за Русский мир, гибнут под минометным обстрелом, под бомбами, под пулями. В больницах для «трехсотых» мест не хватает, морги забиты «двухсотыми», а вы здесь приготовились к позорной смерти от какого-то клеща. Слушайте, если вам все равно от него помирать, то пока еще инкубационный период не кончился, поедem со мной сражаться с укропами. Я вам дам это ружье, может, хотя бы один танк подoбьете, а если стрелять не умеете, обвяжем вас противотанковыми гранатами, и умрете как герой, а не как жалкая жертва какого-то насекомого.

Варвара вмешалась:

— Ему на войну нельзя, у него диабет.

— Вот, — сказал Иван Иванович, — заодно и от диабета избавится. Ну, так что, едем?

— Нет, не едем.

— Бойтесь, сахар повысится?

— Боюсь, жизнь сократится.

— Бойтесь? И считаете себя мужчиной?

— А что, вам предъявить доказательство?

Он повернулся к Варваре, сощурился:

— А что? У него еще есть, что предъявить?

— Пошляк! — сказала Варвара.

— Настоящий мужчина, — решила сказать свое слово Зинуля, — это воин. — И мне: — Вы со мной согласны?

— Не согласен, — сказал я. — Настоящий мужчина — это прежде всего человек, который так же, как женщина, имеет право на жизнь, свободу и стремление к счастью.

— Ой, как вы здорово говорите! — воскликнула Зинуля.

— Это не я сказал.

— А кто?

— Томас Джефферсон.

— А кто это?

— Был такой один, американец.

— А-а, американец, — разочарованно протянула Зинуля. — Так это ж американцы, они мало ли чего наговорят. А я считаю, что настоящий мужчина рождается воином.

— Чушь, — возразил я. — Не воином, а человеком. Мыслящим и чувствующим существом. Которое так же, как женщина, имеет право бояться смерти, боли и унижения. И наоборот: пора бы уже вырастить мужчин, которые боятся убивать, делать кому-то больно и унижать кого-то. Мужчина имеет право быть пацифистом, ненавидеть войну, не хвататься за оружие, беречь себя и избегать убийства других людей во имя каких бы то ни было целей, кроме самых крайних случаев, когда надо и приходится даже ценой своей жизни защищать свою семью от бандитов, от внешних врагов и от своего государства, которое бывает хуже внешних врагов. Но какой-нибудь авантюрист, кочевник по горячим точкам или просто послушный исполнитель, готовый убивать, а хоть быть убитым по приказу, за кусок какой-нибудь территории, за высокую идею, за то, чтобы заставить кого-то жить по-нашему, за деньги, ордена или ради удовольствия, какого бы пола он ни был, он для меня вообще не совсем человек.

Вот это все, может быть, немного другими словами я изложил Зинуле и нашему воинственному попутчику.

Он выслушал меня внимательно, с некоторым изумлением и, почесав за ухом, поинтересовался, дорожу ли я своей честью. Я ответил: а как же, конечно, в какой-то степени да.

— Только в какой-то степени? А если кто-то, допустим, вас или вашу жену оскорбил, вы готовы дать в морду?

Мне много раз задавали этот вопрос, но я от ответа на него уклонялся, а сейчас, подумав, сказал:

— Не знаю.

— Петя! — возразила с упреком Варвара. — Зачем ты на себя наговариваешь? Я всегда знала, что если кто-нибудь меня или тебя обидит, ты никогда не смолчишь.

— Не смолчу. Но дать ли буквально в морду, подумаю. Если оскорбивший сильнее меня, дать ему в морду глупо, он в ответ обидит еще больше, а если слабее, подло, бесчестно и бессовестно. Я честью дорожу, но совесть ставлю выше.

— Интересно! — оценил мои рассуждения Иван Иванович. — А я всегда думал, что честь и совесть близко стоят друг к другу. Без чести совести не бывает.

Я легко согласился:

— Совесть без чести да, но честь без совести встречается, и мы в жизни видим много тому примеров.

Иван Иванович попросил меня привести хоть один, я привел. Медсестра промывала пациенту желудок, тот толкнул ее ногой. Она

решила, что он это сделал намеренно, оскорбилась и позвала на помощь врача. Врач, молодой, здоровый, сильный и скорый на расправу, решил отстоять честь женщины и дал пациенту в морду. Да так дал, что одним ударом убил. Если бы чувство совести было в нем больше развито, он бы ни в каком случае не смог поднять руку на человека, даже очень плохого, но при этом больного и немощного.

Иван Иванович опять нашел мои слова интересными и спросил, чем я занимался до пенсии, не был ли проповедником какой-нибудь секты. Варвара, разумеется, ему тут же объяснила, что я писатель, известный и даже очень известный, национальное достояние, и поэтому меня надо беречь. Он прослушал и это, но возразил, что наши национальные достояния — это Александр Матросов, Зоя Космодемьянская, Юрий Гагарин и двадцать восемь героев-панфиловцев. На что я ему сказал, что о других пока умолчу, но никаких двадцати восьми панфиловцев не было, их всех выдумал журналист Александр Кривицкий, которого я лично знал как большого лгуна. Жалко, его давно нет на свете. Он был фантазер не хуже нынешних, а был бы жив, охотно бы рассказал нам про двадцать восемь распятых мальчиков.

Иван Иванович и тут меня не перебил, и только когда я закончил, высказал свое мнение.

— Хорошо, — сказал он, — ну допустим, все было так, как говорите. Допустим, двадцати восьми панфиловцев не было, но зачем же все это рассказываете?

Я пожал плечами. Что же тут непонятного? Народ же должен знать правду, что и как было на самом деле.

— Глупости это все, — сказал он. — Народ должен знать. Да ничего он не должен. И что интереснее всего, не хочет он знать вашей правды. В мире иллюзий жить намного интересней. И ваше дело, если вы писатель, не разоблачать старые мифы, а сочинять новые.

На этом он не успокоился и пустился в рассуждения о том, что такое писатель, какова его роль в нашем обществе. И что писателю, чтобы прославиться, главное не пережить самого себя, вовремя умереть, и лучше трагически, как Пушкин, Лермонтов, Маяковский, Есенин. Я мог бы возразить, сослаться на пример Толстого, но, подумав, решил не спорить, потому что в ответ на такой пример всегда слышу замечание с кривой ухмылкой: «Но вы же не Толстой». Ну, да, не Толстой, все не Толстые, но ведь на одном Толстом, какой бы он ни был, литература не кончается и им одним не заменяется. Ну это я так, между прочим. А насчет возраста, то, конечно, редко кому из людей нашей профессии удастся сохранить до

старости свежесть ума и таланта, большинство в раннем возрасте, написав свое лучшее, потом ничего подобного повторить не могут, и остаток жизни напрасно мучаются, вызывая разочарования и презрительные отзывы критиков и читателей. В литературе, как в спорте, балете и сексе, надо заканчивать вовремя, чтобы не выглядеть жалким и смешным. К писателям люди бывают не столь снисходительны, как к представителям других публичных профессий. Какой-нибудь спортсмен прыгал в высоту на два с половиной метра, а потом стал прыгать на полтора, потом на метр, потом и на двадцать сантиметров не может подпрыгнуть. И кто его упрекнет? Все понимают, возраст есть возраст. И уже неспособного ни прыгать, ни подпрыгивать помнят, каким он был когда-то. Газеты поминают в статьях под рубрикой (была такая) «Им рукоплескали стадионы». Балеринам прощают. Я был знаком с одной великой и знаменитой, которая не покидала сцену до преклонного возраста. Когда ее выступления уже и на танец похожи не были, она просто выходила на сцену и одними только взмахами рук изображала лебедя. Тем не менее публика, помнившая ее молодую, сильную и прыгучую, взрывалась в овациях и забрасывала ее цветами за то, что она еще жива, выходит на сцену, подпрыгивать не может, но руками машет почти как прежде. Между прочим, однажды я был на ее концерте и сидел рядом с ее мужем, известным композитором, в музыке очень тонким, а в быту чрезвычайно грубым. Три места перед нами занимали человек с толстой шеей и золотой цепью на ней и по бокам телохранители с такими же шеями, но без цепей. Рядом с мужем балерины сидела пожилая пара, бывшие, как они нам охотно рассказали, учителя, а тот, с цепью, был их сын из тогдашних новых русских. Сын время от времени чего-то происходящего на сцене не понимал, поворачивался к родителям, они ему объясняли. Но вот концерт окончен, публика рукоплещет, швыряет на сцену цветы. В это время в ложе поднимается хрупкая женщина и тоже хлопает. Публика немедленно оборачивается к ней и теперь аплодисменты гремят в ее честь. Новый русский поворачивается к родителям и спрашивает шепотом: «Кто это?» Мама шепотом отвечает: «Уланова». Следующий вопрос: «А кто она?» Папа говорит: «Балерина». Сын, показывая пальцем, на сцену: «Такая же, как эта?» — «Лучше», — отвечает мама. «Намного, намного лучше, — уточняет папа и поворачивается к мужу балерины: — Вы не скажете, который час?» И тут же получил ответ: «А не пошел бы ты на...», и дальше пошли такие слова, что надо очень хорошо владеть мастерством композиции, чтобы суметь соединить их между собой. Старики опешили, съежились, сын и телохранители повернули свои бычьи шеи, посмотрели удивленно, но, находясь в храме искусства, спорить с

грубияном не стали.

Я отклонился в сторону, но речь моя была о том, что возраст — это такая штука, которую всем прощают, кроме писателей. О писателе говорят, и с радостью, как будто именно этого и ожидали (и в самом деле ведь ожидали), что деградировал, стал бездарным. И редко при этом скажут: а давайте все-таки вспомним, каким он был раньше. И при этом не могут себе даже представить, что писатель в любом возрасте все еще на что-то надеется. Взять хотя бы меня. Вот, казалось бы, дотянул до такого предела, что можно уже никаких иллюзий не питать и несбыточных планов не строить. А я нет, все еще думаю, а вдруг вот сейчас разгонюсь да подпрыгну, вдруг что-нибудь еще такое эдакое заверну, про что-нибудь, про клеща хотя бы про этого. Не зря же он в меня залез, побуждает меня к чему-то. Мне, правда, скажут: нашел тоже тему и персонажа. Козявку. Раньше писал все-таки про людей. Раскрывал, как говорилось, тему хоть и маленького, но все-таки человека. А теперь и вовсе измельчал и никого вокруг себя крупнее клеща не видит. И некоторые критики сразу найдут повод для сарказма. Что, мол, изображает предмет, соответствующий собственному масштабу.

Третий Иван Иванович

Такими вот мыслями утомленный, я заснул, и мне сразу приснился тот же Иван Иванович, который предлагал мне, если я сам не хочу воевать, то хотя бы научить моего пса Федора, обвешанного гранатами, бросаться под укропские танки. Но я и в этом ему отказал, считая, что если уж люди столь глупы, что никак не могут не воевать, так они никак не заслужили, чтобы такое чистое и безвинное существо, как Федор, жертвовало ради них своей жизнью, которая у собаки тоже одна, как у нас. Спал я на этот раз совсем недолго, только закрыл глаза и тут же открыл. Вокруг меня как будто ничего не изменилось, разве что поле снегом припорошило, но мы так же куда-то едем и в том же составе, то есть я, Варвара, Паша, Зинуля и Иван Иванович. Но не тот Иван Иванович, а какой-то другой, на того очень похожий. Не в камуфляже, а в брезентовом плаще с капюшоном. В углу стоит не ружье, а удочка, и едет этот Иван Иванович не на Курский вокзал, а на Савеловский. А с Савеловского он поедет на электричке на какое-то, как он, подмигнув, сказал, секретное озеро, экологически чистое. Там водится экологически чистая рыба, ее он каждый день доставляет своему хозяину, который питается исключительно рыбой.

— Странный у вас хозяин, — заметила Варвара.

— Необыкновенный, — поправил Иван Иванович и спросил меня, кто я, куда еду и по какой надобности. Я ему объяснил, и он остался недоволен, как предыдущий Иван Иванович, и стал что-то бубнить, попрекая меня уже не войной, а тем, что слишком дорого обхожусь государству.

— Пенсионеров, — бубнит, — развелось, как блох. И мало того, что они пенсионный фонд разоряют, так их же еще и лечить надо. Да еще и бесплатно. Чем дольше живут, тем чаще лечатся, а чем чаще лечатся, тем дольше живут. — Эта мысль ему, видимо, так понравилась, что он достал из кармана электронную записную книжку, записал сказанное и продолжил: — И чуть что, кто с клещом, прыщом, свищом или грыжей, каждому подавай «Скорую помощь». В это время люди опаздывают на поезд, на самолет, на банкет, на похороны, наконец. На такси сквозь пробки не пробиться, а «Скорую» не поймаешь, она таких вот возит с клещами. И так у нас все. Воровство, взятки, коррупция. Одни живут за чертой бедности, а другие гоняют на «Скорой помощи» и вывозят из страны миллиарды...

— Какие миллиарды? — не выдержал я. — Что вы городите? Я еще ни

одного миллиарда не вывез.

Но он меня не слушает, продолжает перечислять проказы миллиардеров и развивает тему в такую сторону.

— ...покупают острова, яхты и футбольные команды. Тысячи военнослужащих не имеют жилья, страна погибает от наркотиков и наплыва мигрантов. Донбасс горит, Сирия пылает, Кавказский котел, можно сказать, уже кипит, булькает, вот-вот взорвется, а эти все ездят со своими клещами. И самое главное, что народ все это терпит.

Мне бы тут попридержать язык, но я ведь не могу. Я ведь, как говорит Варвара, когда сердится, правдолюбец хренов. Правда, когда не сердится, правдолюбец, говорит, ты мой безбашенный. А кто из нас безбашенней, это надо еще подумать.

— При чем тут народ? — говорю я этому Ивану Ивановичу. — Сами знаете, что дело не в народе, а в одном человеке.

— Да? — Он изобразил удивление. — А кто этот человек? Фамилию не подскажете?

Тут я все-таки подумал, что слишком перед ним, не зная, кто такой, раскрываться не стоит.

— Фамилию, — говорю, — сами знаете не хуже меня.

— Понятно, — парирует Иван Иванович, — назвать боитесь, но при этом утверждаете, что тот, кого вы боитесь назвать, во всем виноват. А вы?

— А что я? Я-то в чем виноват?

— Если вы ни в чем, то и он ни в чем. Вы поймите, у него было трудное детство. Он вырос в коммунальной квартире. Злой отчим порол его ремнем, соседские старшие мальчишки отнимали у него деньги на школьные завтраки, а он отнимал у младших. Его воспитывали школа, комсомол, партия и КГБ. Он читал книги про шпионов и сам хотел стать шпионом, может быть, даже большим шпионом, может быть, даже в самых дерзких мечтах — главным шпионом, но не тем, кем он стал. Но вы сами выбрали его, вот и кушайте такого, какой есть.

— Вот и кушаем, но какой бы он ни был, — робко возразил я, — должен же он понимать, что так издеваться над народом нельзя.

— Ну почему же нельзя, если народ позволяет?

— Да кто ж у народа что спрашивает?

— Так в том-то и дело, что наш народ позволяет его не спрашивать.

— А где вы видели такой народ, у которого что-то спрашивают?

— Я видел, — сказал он. — Я видел много народов, у которых правители постоянно спрашивают разрешения на все. А те, у которых не спрашивают, их и народом называть вряд ли стоит.

— Да, — сказал я взволнованно и временно забыв про клеща, — очень даже с вами согласен. Наши люди слишком покорны и позволяют с собой вытворять все, что угодно. Потому что у нас нет никакой солидарности, и мы, даже если в чем-то не согласны, сидим и помалкиваем каждый в своем углу. А если бы мы все как один вышли на площадь и сказали бы наше твердое «нет»...

— Вот, — обрадовался Иван Иванович и даже похлопал в ладоши, — правильно говорите. Давайте завтра же все вместе выйдем и скажем «нет».

— Давайте, — говорю я, — хорошая идея.

— Идея замечательная, — согласился он. — Значит, завтра встречаемся на площади.

— Кто?

— Вы, я и все остальные. Вы же придете?

— Я-а? А зачем?

— Но вы ж говорите, что все должны выйти.

— Вот именно все. Когда все выйдут, тогда и я. Это уж точно, — добавил я уверенно. — Если все выйдут, то уж я тоже, будьте спокойны.

— А как же вы узнаете, что все вышли?

— В окно выгляну. У меня окно, знаете, выходит как раз на площадь. Как только я увижу, что все вышли...

— Тогда и вы выскочите?

— Да, — сказал я. И подумал. — А может быть, нет. Если все выйдут, то обойдутся и без меня. Как вы думаете, обойдутся?

Я посмотрел на Ивана Ивановича, надеясь, что он поддержит меня и найдет для меня слова оправдания, но он посмотрел на меня скучным взглядом, зевнул и сказал, что спать хочет. И, попросив не беспокоить его, пока не доедем до места, но, не спросив разрешения, улегся на свободный лежак, чем сильно меня возмутил. Почему я, старый человек и к тому же с клещом, должен спать сидя, а он со всеми удобствами? Я хотел прямо ему это высказать, но не успел, он тут же заснул. Причем не просто заснул, а зачмокал губами и захрапел, и опять-таки не просто захрапел, а с каким-то, как мне показалось, издевательским смыслом, и если всю эту музыку попробовать изобразить буквами, то это звучало приблизительно (весьма приблизительно) так: хррр-чмок-хррр-фью-фью-хррр-чмок-хррр. Ой, подумал я, какой несчастной должна быть его жена, если она у него есть и спит с ним в одной постели.

Делают вид, что живут

А я, между прочим, никогда не храплю. Но с возрастом стал ужасно сонлив, что читатель этих строк уже, вероятно, заметил. Точнее так: ночами не сплю, а днем засыпаю, даже сидя за компьютером. И вижу все время разные сны, где встречаются не только очень странные персонажи, но и сам я во сне могу быть то законопослушным российским гражданином, то, наоборот, неукротимым нигилистом и бунтарем, то американским профессором или банкиром, а бывает даже, что вижу себя каким-то животным. Я это объясняю тем, что, наверное, во мне проявляется, как говорится, художник слова, который и во сне продолжает сочинять разные характеры, вживаться в них и выступать от их имени. Вжившись в очередного персонажа, я сплю и думаю о том, например, что у нас, с тех пор как коммунистов прогнали, всё есть: свобода, демократия, хорошие зарплаты и приличные пенсии. Нами правит самый лучший в мире руководитель, который очень любит страну, людей, детей и животных. Животных, особенно редких, и особенно редких птиц. Потому что он сам птица высокого полета. Мы его постоянно избираем и переизбираем, потому что у нас никого лучше нет. Если вы, задаю я во сне вопрос неизвестно кому, считаете, что есть кто-то лучше, позвоните по телефону доверия, там вас внимательно выслушают и запишут. А потом разберутся с вами и присмотрятся к тому, кто, по вашему мнению, лучше. Я сплю, и мне снится, что у нас благодаря мудрому руководству того, кого лучше нет, все идет хорошо, стабильно, ни войн, ни санкций, за рубль дают шестьдесят долларов и вдобавок сколько-то евро, и все очень довольны, за исключением некоторых. Этим некоторым и семьдесят долларов за рубль будет мало. Они — незначительное меньшинство населения — никогда не бывают и не будут довольны, хоть золотом их засыпь. Меньшинство недовольно верховной властью, местными властями и большинством, которое всем довольно, включая верховную власть. В России испокон веков меньшинство, жившее хорошо, проявляло недовольство тем, что большинство жило плохо, и шло за него хоть на каторгу, хоть на плаху. Но плохо жившее большинство ни к чему лучшему не стремилось, к страдавшим за него относилось с подозрением, жертв их не ценило, охотно сдавало их полиции и с радостным любопытством глазело, когда их вешали на площадях. Теперь страдальцев за народ прилюдно не вешают, но сажают или отстреливают из-за угла, а они продолжают болеть за народ, иногда,

впрочем, обижаясь на него, что он опять всем доволен. Что касается меня, то вообще всегда недоволен всем, чем вызываю недовольство властей, не понимающих, чего мне еще не хватает, когда, как они считают, мне хватает всего. Не знаю, все эти мысли снились мне или въяве тревожили. Но, отвлекшись от них, я увидел, что Иван Иванович задвигался на лежаке, и руками задержал, и ногами засучил, я сначала подумал, может, у него эпилепсия, и тогда, как я слышал, надо хватать язык и вытаскивать его как можно дальше наружу. А если он упадет, залипнет, перекроет дыхательное горло, то до Савеловского вокзала мы довезем бездыханный труп. А если Иван Иванович не врет и в самом деле он такой важный и наделенный особыми полномочиями, так от него просто так не избавишься, куда-нибудь в канаву не выбросишь и в ближайшей роще не закопаешь. Найдут и меня в политическом убийстве заподозрят. Я кинулся к нему, не представляя, каким образом я его за язык ухвачу, но увидел, что он не может вскочить, потому что пристегнут к кровати, ну, ремни мне было сподручней отстегнуть, чем хватать его за язык. Я его от ремней освободил, он вскочил и, глядя на меня безумными глазами, закричал сразу:

— Как вам не стыдно?!

Я не понял.

— Вы что, — говорю, — меня опять стыдите? А за что мне должно быть стыдно? За то, что не воюю за ваш Дэлэнэр? За то, что не выхожу на площадь? За то, что долго живу? Ну, виноват, оказался крепче, чем некоторые надеялись.

— Да я не о том, что вы вообще живете. А о том, как вы в этой Рашке живете?

Что такое? Только что попрекал меня тем, что я плохой гражданин, и вдруг Рашка.

— Позвольте, — говорю, — Иван Иванович.

Он на меня презрительно посмотрел.

— Я вам не Иван Иванович, а мистер Джонсон энд Джонсон старший. И почти без акцента.

Опять какие-то странности. Не выказывая удивления, я ему говорю:

— Мне все равно, одноразовый вы Иван Иванович или дважды Джонсон, старший вы или младший, но называть мою страну Рашкой я вам запрещаю.

— Ты, — это он мне уже тыкает, — мне запрещаешь? Да кто ты такой? Тут я разозлился не на шутку.

— Кто я такой, всем известно. А вот ты кто такой?

— Я-то? — И сует мне в нос удостоверение, в котором по-английски

написано, что предъявитель сего имеет право делать и говорить все, что и где ему заблагорассудится, и представители власти на местах должны оказывать ему в этом содействие.

На что я, беря пример с Варвары, сказал ему, что кто ему чего должен оказывать, я не знаю, что наша страна, где он сейчас находится, называется Россия, а если по-ихнему, то пусть будет хотя бы Раша. Это звучит не так величественно, но ласково, как Маша, Даша, Наташа, а уж никак не Рашка.

— Именно Рашка, — повторил он, — и другого названия ваша страна не заслуживает. Власть воровская, парламент ублюдочный, суд продажный, народ рабский.

— Ну, насчет власти, парламента и судов возражать не буду, — сказал я, — оскорбления народа не потерплю. Народ у нас самый добрый, самый открытый и главное, что самый духовный.

— Какая чушь! — возмутился мой собеседник. — Кто вам это сказал, что вы самые-самые, если вы в своей стране никак человеческого порядка не наведете? Мнительные, хитрые, коварные, подозрительные, мстительные. Все время вам кажется, что вас, наивных и чистых, кто-то хочет обидеть и не считает за людей. Тут, между прочим, такой парадокс, что если вам все время кажется, что вас не считают за людей, то вас за них считать и не будут. Вы этого не понимаете и продолжаете искать, на кого бы обидеться и эту обиду выразить каким-нибудь вооруженным способом. А ваша духовность — откуда она? Вы семьдесят лет проповедовали безбожие, преследовали священников, рубили иконы, церкви превращали в свинарники и хранилища гнилых овощей. И уж если искать тех, кто плохо относится к вашему народу, так вы сами хуже всех сами к себе и относитесь. Ваши правители вас грабят и вас же презирают за то, что вы все это терпите. Вы любите ваших правителей, и правители именно поэтому считают вас дураками. Они-то сами понимают, что их любить не за что. Таков режим, которому вы служите.

— Я ему не служу, — сказал я.

— Еще как служите, — отвечал он. — Пенсию получаете? Коммунальные услуги оплачиваете? У врачей лечитесь? Значит, служите. А еще то, что не бежите от него, значит, тем самым обманываете людей, делая вид, что здесь можно жить.

— Глупости говорите, — наконец-то вмешалась моя половина, — Петр Ильич никогда не делает вид, что он что-то делает, чего он не делает. И он не делает вид, что живет, а живет. И кроме него в нашей, как вы говорите, Рашке живут еще сто сорок миллионов человек. Живут, а не делают вид. Понятно вам?

Мистер вздохнул:

— Мне понятно то, что вы сами не понимаете и все ваши сто сорок миллионов не понимают, что вы уже давно не живете.

Сказав это, он снова улегся на уже освоенное им ложе, пристегнулся и тут же захрапел, будто этим храпом подвел черту под всем сказанным. А меня снова заставил задуматься. Я задумался, и мысли меня посетили нехорошие. Я не согласился с тем, что мы не живем. Наоборот, мы очень даже живем, и, как все другие, живем надеждами на перемены или на смерть. И вот почему. Мы своих правителей не выбираем и не можем рассчитывать на то, что один, отслужив свой срок, достойно уйдет и его место займет другой, нами избранный. Но мы народ терпеливый, мы не избираем, но ждем. Ждем, когда этот умрет, в надежде, что вновь пришедший будет лучше ушедшего. А потом мы ждем этого вновь пришедшего, когда он станет опять ушедшим. Ждем.

С этой мыслью я опять заснул, но сон мой был некрепок. Очередной раз приоткрыв глаза, я увидел, что Варвара спит, а этот самый Иван Иванович, или Джонсон энд Джонсон, или черт его знает, как он на самом деле называется, склонился над Зинулей, и они о чем-то шепчутся, впрочем, довольно громко. Полагая, очевидно, что я или крепко сплю, или глухой, не услышу. А у меня, несмотря на мой возраст, слух еще, как говорится, отменный. Я напрягся и услышал, что она называет его муженьком, Ванюшей и котиком, а он ей рассказывает, что там, где он работает, научный эксперимент полностью завершен, перевоплощение практически состоялось, режим дня у *него* (у того, о ком они говорили) остался практически прежним, но изменился рацион в пользу рыбы. Затем была недолгая пауза, и вдруг этот человек заговорил обо мне. Кивнув в мою сторону, он спросил у Зинули:

- Ну, а этот-то что?
- Что ты имеешь в виду? — спросила Зинуля.
- Не понимаешь, что ли? Думаешь, правда, случай серьезный?
- Серьезней не бывает, — уверенно отвечала Зинуля.
- Энцефалит? — переспросил он с надеждой.
- Насчет энцефалита не знаю, но признаки боррелиоза налицо.
- А спасти можно?
- Если вовремя оказать необходимую помощь...
- А ты, — перебил он ее, — постарайся не вовремя. Не спеши.
- А никто и не спешит. Ты же видишь, ездим кругами туда-сюда, колеса прокалываем, попутчиков подбираем.

Не могу передать, как я был потрясен услышанным. Оказывается, все,

что со мной случилось, это была здорово разработанная хитроумная операция. Сначала засадили в меня клеща. И вот почему они сразу прилетели на мой вызов. Потому что боялись, как бы другая «Скорая», опередив, не привезла меня в Тоцк, где клеща извлекли бы в момент и избавили меня от возможных последствий. А они тут же прискакали, объявили, что Тоцк меня не берет, якобы потому, что я не академик, и взялись везти меня по самой длинной и запутанной дороге в надежде, что за это время инкубационный период пройдет и клещ сделает свое дело.

Я так разволновался, что мне стоило большого труда не выдать себя.

Бред реальности

Ну, вы уже все поняли и относитесь одни, возможно, с сочувствием, а иные и со злорадством к тому, что у меня, старого человека, в голове все перепуталось и, перебирая в уме воспоминания, я никогда не могу с полной уверенностью сказать, что из этого случилось на самом деле, что мне приснилось, прибредилось, пригрезилось или было просто плодом моего воображения. Ясное дело, скажете, возраст, склероз, маразм, альцгеймер. Не буду отрицать, вероятно, и это имеет место, но, если правду сказать, я и смолоду слыл фантазером. И даже в те времена, когда еще в голове у меня мозгового вещества было больше, чем кальция, я порой не мог отличить то, что было в действительности, а что я выдумал из своей головы. Порой я думал, что и незачем отличать. Как помнится, так и помнится. Вся наша жизнь — это память о прошедших событиях. Чем больше их было, тем жизнь кажется длинней и богаче, а уж какие они были, реальные или выдуманные, не имеет значения.

Итак, как было или не было, но, как мне помнится, мы едем в институт Склифосовского в следующем составе: я, моя жена Варвара, водитель Паша, фельдшер Зинуля, клещ и... Ну, насчет «и» точно сказать не могу. Подхваченный нами по дороге попутчик, был ли он Иваном Ивановичем, был ли тем Иваном Ивановичем или другим, или Джонсоном энд Джонсоном, имел ли какое-то отношение к нашей Зинуле и вообще существовал ли, думайте сами. Дорога длинная, асфальт кривой, машину потряхивает, хочется спать, но Зинуля тарахтит без умолку и делится сомнениями насчет своего Ванюши-котика, в самом ли деле его держит работа или что-то другое в виде птичниц-лаборанток, которые там ходят в коротких белых халатиках, едва прикрывающих то, что котик всегда держит в своем недремлющем воображении.

— Как вы думаете, — задает мне Зинуля очередной дурацкий вопрос, — изменяет он мне или нет?

— Откуда я могу знать, изменяет он или нет, если я не знаком с ним?

— Какая разница, знакомы, не знакомы, но вы же тоже мужчина... ну были когда-то...

— Что? — насторожилась Варвара.

— Извиняюсь, не то лягнула, — спохватилась Зинуля. — Нет, я вижу, конечно, что вы мужчина, не были, а есть и, дай бог, клеща вытащим, еще долго будете. Может, этот клещ вам в этом смысле даже на пользу пойдет.

Так вот если бы вы работали среди таких девушек с крутыми попками и в коротких халатиках, вы бы как на них реагировали?

Мне на этот вопрос особенно при Варваре отвечать не хотелось, и я пробормотал что-то невнятное.

Но тут Варвара в меня вцепилась:

— Ну-ну, скажи, мне тоже интересно.

Ей я не ответил, а у Зинули спросил:

— А что бы вы делали, если б узнали?

— Ой, не дай бог! Вы знаете, я так для себя решила, даже интересоваться не буду. Потому что если узнаю, буду скандалить и себе же хуже сделаю. А так, не вижу, не знаю, все хорошо. Вы со мной согласны?

Я согласился, считая, что Зинуля не просто права, а выражает народное отношение к правде жизни, которая народу не нужна и на которую он много лет закрывает глаза. И живет по принципу: меньше знаешь, лучше спишь. Чтобы душевно себя не травмировать, она не хочет знать ничего ни о прошлом, ни о настоящем. Как, за что и в каких количествах прошлый режим уничтожал наших родителей, дедушек и прадедушек, среди которых одни формально были жертвами, другие палачами, но жертвами были все. Потому что палач, прежде чем убить другого человека, убивает человека в себе. О палачах у Пастернака: «наверно, вы не дрогнете, сметая человека. Что ж, мученики догмата, вы тоже жертвы века». Жизнь страны в недавнем прошлом была страшная и постыдная, но те, кто прожил ее и кто не прожил, не хотят знать и стыдиться и охотно внимают тем, кто говорит им, что хорошего было больше, чем плохого, и плохое делалось ради хорошего. Человек избегает возможности услышать правду о прошлом и настоящем, хотя подозревает, что она есть — и не такая, как ему говорят. Но при этом предполагает и то, что, если он эту правду узнает, ему станет жить беспокойно и неудобно, страшно, или совестно, или и то и другое. Это знание приведет его к опасным вопросам, которые он задаст себе или власти и сравнит то, что он узнал, с тем, что ему говорили и что утаивали. И тогда перед ним возникнет выбор: несмотря на знание, которым он овладел, жить, как раньше, лгать самому себе, терять к себе уважение, считать себя тварью дрожащей, бессовестным человеком или решиться на какие-то высказывания или действия, которые в стране ничего не изменят, но ему и его семье принесут много неприятностей, а то и несчастий. И вот, предвидя это все интуитивно, человек закрывает глаза и затыкает уши, и говорит себе: ничего не хочу знать, видеть и слышать, что осложнит мою жизнь сделает ее неудобной и опасной.

О любви, браке и любви вне брака

Нежелание Зинули знать правду, что делает муж, находясь вне дома, повернуло мои мысли еще вот в каком направлении. Когда я был помоложе и плотские побуждения сильно меня беспокоили, я много думал о том, как сильно половой инстинкт владеет нашими мыслями и делами. Толкает нас иногда на благородные поступки, но чаще на сумасбродства, подлости и измены. Человечество не нашло возможности гармоничного сосуществования мужчин и женщин. Большинство людей, вступая в брак по любви, рассчитывают на счастье вдвоем и надеются, что им хватит друг друга на всю жизнь. Через некоторое время оказывается, что эти надежды были иллюзорны, и ему хочется получить немного удовольствия на стороне, она не против того же, и это желание настолько сильно, что они забывают о своих добрачных представлениях о супружеской верности, о своих клятвах друг другу. Семья превращается в союз двух неверных. Я думаю, что девяносто девять процентов мужчин и почти столько же женщин, кто больше, кто меньше, поддаются соблазну «сходить налево», а мысленно это делают все сто процентов. Мужья и жены изменяют друг другу, лгут друг другу, это делают даже люди, которые в принципе ложь ненавидят и во всем остальном щепетильно честны. Если бы люди согласились с мыслью, что они такие, какие есть, что такова их природа, с которой надо как-то считаться, что надо выработать какие-то другие правила общежития... Но какие? Некоторые пытаются такие правила установить для себя, создают сексуальные коммуны, тройственные союзы, меняются женами и мужьями и что-нибудь еще вроде этого, но это противоречит их же инстинкту собственника, природной ревности и почти неизбежно приводит к тяжелым психическим последствиям. Были люди, для себя сознательно и далеко ушедшие от общих правил поведения в браке. Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар, сойдясь в ранней молодости, сразу условились, что будут вместе и в то же время будут сексуально свободны, но с неперемным условием — никаких тайн друг от друга. Так и жили всю жизнь. У него были любовницы, у нее любовники, они друг от друга не скрывали ни фактов, ни подробностей. Некоторые его любовницы были и ее любовницами, они жили общей семьей, делясь друг с другом впечатлениями и подробностями. Но и тут без лжи не обошлось. Потому что друг другу они не лгали, а общим любовницам приходилось, ибо те, хотя отошли от общепринятых моральных правил, но все же какие-то

барьеры перешагнуть не могли. Так Симона и Жан-Поль в мире и согласии дожили до самой смерти, будучи с точки зрения общей морали ужасными извращенцами и оставаясь во всех других смыслах честными людьми. Лев Ландау пытался установить похожие правила в своей семье, но это удалось ему только наполовину, он спал, с кем хотел (а хотел он со всеми), и почти на глазах у жены Коры. Ей разрешал вести себя так же, к чему даже настойчиво побуждал, но она предоставленной ей свободой не пользовалась, и это привело ее к психическим расстройствам. Говорят, что Ландау, домогаясь очередной женщины, был не очень в себе уверен. Один из его друзей рассказал мне, что однажды они с Львом Давидовичем собирались вместе на свидание с незнакомыми девушками, и Ландау перед выходом из дома приколот к пиджаку Золотую звезду Героя Социалистического Труда. Друг удивился: «Зачем?» — «Понимаешь, — объяснил Ландау, — на свои внешние чары я не очень надеюсь, а объяснять какой-то бляди, какой я большой ученый, глупо. Она не поймет или не поверит. Но Звезда будет убедительным доказательством».

Между прочим, большевики смеялись над темными крестьянами, среди которых ходил слух, что советская власть собирается объявить жен общими. Большевики говорили, что такие представления внушают людям вульгаризаторы марксизма, который ничего подобного не предполагает. А на самом деле марксизм, во всяком случае в лице Энгельса, был изначально вульгарным и именно это предполагал. Энгельс в каком-то своем сочинении писал (передаю не дословно, но как мне помнится и близко по смыслу), что в буржуазном обществе жены и так давно общие, но буржуи, в большинстве своем лицемеры и ханжи, не желают признавать очевидного. Так вот в обществе будущего, свободном от лицемерия и ханжества, доступ всех мужчин ко всем женам будет признан естественным и законным.

Половой инстинкт толкает людей на агрессию, преступления и войны. Положительной характеристикой мужчины считается понятие «мужик с яйцами», но некоторым эти придатки усложняют жизнь. И если бы только им самим. Не зря придумана кастрация для неспособных справляться со своей похотью половых маньяков. Хорошо бы той же процедуре подвергать склонных к тирании и наиболее воинственных политиков, вождей и полководцев. Больших войн можно было бы избежать, охолостив правителей вроде Наполеона, Гитлера, Сталина. Может быть, даже вообще всех претендентов на высший пост следует подвергать этой процедуре превентивно, при вступлении в должность.

Кстати, о Сталине. Меня часто спрашивают, чем можно объяснить

неугасимую любовь нашего истерзанного народа к этому массовому чикатиле, тридцать лет державшему страну в зле, нищете, рабстве и страхе. Незнанием? Мало о нем сказано и написано? Достаточно для того, чтобы мало-мальски грамотный и сколько-нибудь интересующийся нашей недалекой историей и о чем-то думающий человек прочел, содрогнулся от ужаса и проклял этого врага человечества.

— А все-таки, — говорит Зинуля, — при Сталине был порядок. Вы со мной согласны?

— Угу, — отвечаю я и опять впадаю в дремоту.

Зинуля меня растормошила в очередной раз:

— Петр Ильич, проснитесь!

Я говорю:

— Что? Опять что-нибудь захватили?

— Да что вы все «захватили, захватили». Ничего не захватили.

— А если не захватили, зачем меня будить? Вы же медик и должны знать, что прерывание сна очень вредно для организма.

— Ну, извините, я бы ни за что не стала, но тут такое дело, такое дело...

— Да какое может быть дело важнее спокойного сна?

— К сожалению, может быть. Вы знаете, что, пока вы спали, у нас Перлигос пропал?

— Чего? — говорю. — Пропал? И это что, очень важно?

— А по-вашему, Перлигос пропал, это не важно?

— Ну, важно, важно, — говорю я, протирая глаза, — но не настолько же, чтоб будить старого и нездорового человека? Или вы хотите, чтобы я его искал?

— Да его без вас уже две недели ищут, найти не могут. Две недели он совет безопасности не собирает, внезапные проверки боеготовности вооруженных сил не проводит, с птицами не летает, в телевизоре не появляется, а вы все спите.

Тут я проснулся, кажется, окончательно.

— Две недели его нет в телевизоре? А что ж тогда они показывают?

— Показывают его, но не так часто. И только в консервах.

Я посмотрел на Зинулю так, что она перепугалась и стала мне торопливо объяснять, что консервы — это не то, что я подумал. Эти ничего общего со свиной тушенкой или бычками в томате, это записанные на диск старые кадры, которые телевизионщики пытаются выдать за новые. Например, не далее как вчера выдавали за свежее интервью старое, которое брали три года назад, в котором он, еще вполне волосатый, говорил, что

Крым не наш и никаких видов мы на него не имеем.

Наконец-то я всю информацию усвоил, пережевал, проглотил и говорю:

— Ну хорошо, я понял, что Перлигос пропал. И что? И какие еще признаки его неprisутствия?

— Пробок нет, — обернулся Паша. — С тех пор как пропал, так ехай хоть туды, хоть сюды, все дороги свободны.

— Так это же хорошо, — говорю я и нарываюсь на возражение.

— Кому хорошо, кому не очень, — вздыхает Паша. — У меня, если пробок нет, нет левого заработка. Без пробок любой частник вас довезет вовремя хоть до Шереметьева, хоть до Домодедова.

Вот что значит предприимчивый человек! Что для других неудобство, то для него прибыль. Так я подумал и вновь погрузился в сон.

Haus der Dummen, или Дом дураков

Не помню, сколько минут, часов, дней или недель проспал я на этот раз, но, как мне потом рассказали, почти все это время Перлигос отсутствовал, а журналисты, политологи и политтехнологи из «пятой колонны» пытались понять, что бы это значило, оппозиция высказывала всякие соблазнительные для нее надежды, и девяносто процентов народа беспокоились, как же они будут жить, если его отсутствие окажется бесконечным. Проснувшись на короткое время, я тоже немного поволновался, но, поразмыслив, решил, что тревожиться слишком не стоит, все идет своим чередом. Магазины работают, поезда ходят, самолеты летают, куры несутся, и коровы доятся. Я успокоился и снова заснул, и попал, представьте себе, в Берлин. Иду по улицам, знакомые названия: Курфюрстендам, Тиргартенштрассе, Фридрихштрассе, Александерплац, и вдруг вижу вывеска: Haus der Dummen. Я удивился. Я думал, что их парламент называется рейхстаг, а он, оказывается, называется почти так же, как наша Дума. Я немного поднапрягся, перебрал в уме знакомые мне слова немецкого языка, вспомнил, что в немецком есть слово думкопф, что означает глупая голова или дурак, а «думме» просто дурак и никакого второго значения не имеет. Слово «хауз» я знал еще с детства. Сложив эти два слова вместе, я легко догадался, что это здание называется Дом дураков. Разжигаемый любопытством, я поднялся по высоким ступеням, прошел через широкий вестибюль и оказался в просторном зале, круглом, как в цирке, с рядами во много ярусов, спускавшимися к площадке, освещенной прожекторами, светившими со всех сторон и освещавшими небольшую группу людей обоего пола в хороших костюмах, но с собачьими головами. Они стояли, собравшись в круг, и громко лаяли друг на друга. Прислушавшись, я с удивлением обнаружил, что довольно неплохо понимаю собачий язык и что, как я понял, они лают не то чтобы друг на друга, но как бы в сторону друг друга, и все лающие согласны со всем, что лает каждый из них. Из того, что они вылаивали, я понял, что некоторое время тому назад они проиграли какую-то войну, были поставлены на колени и стояли долго, но устали и постепенно поднялись во весь рост. Разогнув колени, они испытали страшную обиду против мира, который их победил и унизил. Они это терпели долго, но больше терпеть не намерены. Они послали маленьких зеленых человечков в Калининградскую область, мотивируя это тем, что это исконная их территория, и без единого

выстрела, немедленно эту территорию захватили, потому что калининградцы оказались к этому совершенно неподготовлены. У них там было много «Искандеров» (не писателей, а ракет), но они были созданы для уничтожения больших целей, а против маленьких человечков оказались бессильны. Маленькие же человечки захватили всю Калининградскую область со всеми бывшими там «Искандерами», со всеми писателями и людьми прочих профессий, провели референдум. Сто один процент жителей, включая успевших набежать из других областей через Литву или Польшу, единогласно проголосовали за немедленное включение Калининградской области в состав ФРГ. А кому не удалось перебежать, сперва опешили от такой наглости, а потом стали вопить на весь мир, что присоединение области — это на самом деле аннексия и грубейшее нарушение чего-то. Они сравнивали фрау Канцлерин с Гитлером, пририсовывали ей гитлеровские усы и вспоминали вторжение немцев в Судеты и аншлюс Австрии. На что германские пропагандисты заявили, что вообще никаких русских нет, что на самом деле русские — это вообще не народ, а искусственно созданная популяция. В действительности русские, украинцы, белорусы — это все немцы, только говорят на другом языке. Не могу сказать, что я этим речам особенно удивился. Что-то похожее я слышал раньше. Не удивился бреду горячечной больной, заявившей, что мы ни в коем случае не должны отдавать наших немецких сирот на усыновление русским, потому что русские, это же всем известно, люди невежественные, не признают однополых браков, с детишками нашими немного поиграют, позабавятся и пустят на запчасти, которые нам и самим нужны. Затем последовала длинная речь госпожи Зоммервайцен, из которой я понял только, что речь идет о госпоже Канцлерин, которая всегда правильно говорит, тонко замечает, мудро рассуждает, четко объясняет, решительно действует и потому является наиболее уважаемым политиком во всем мире и во всей истории человечества. За ней слово берет господин Рибхаммер, внук Риббентропа и Молотова, который заверяет собравшихся, что мы наш братский русскофашистский народ в обиду не дадим, и если надо его уничтожить, сделаем это для его же пользы своими силами. Дискуссию развивает Хаммертроп, внук Молотова и Риббентропа, превратившийся вдруг во Владика Коктейлева, рядом с которым, справа и слева, выстроились другие надменные потомки известной подлостью прославленных отцов, а также из простолюдинов Вовик Индюшкин, Антон Железякин, Семирамида Озимая, Лев Достоевский, Вольф Поносов и, перебивая друг друга, хором заговорили по-русски. Владик сказал, что на самом деле никакой Укропии никогда не было, как не было никакого

отдельного укропского языка, а тот, который есть, выдумали австрийцы, которых, если подумать, тоже нет. Поэтому мы не только территорию освободим, но и дадим им возможность наконец-то говорить на родной нашенской мове, которой они не знают. А если что, подхватил Вольф Вольдемарович, не будем лицемерить и наконец признаем очевидный факт, что не только укропы, но и гренки, и даты, и, само собой, пруссаки, а также все другие народы, живущие вокруг нас, вдали от нас и поблизости, на самом деле русские, которые страдают от геноцида. Мы их освободим, и НАТО не посмеет нам мешать, потому что у нас есть ядерное оружие.

— А у них разве нет? — поинтересовался Индюшкин.

— У них есть, — презрительно отозвался Вольф Вольдемарович. — Но они трусы. Они не решатся его применить, потому что слишком хорошо живут и хотят жить дальше.

— А мы разве не хотим жить? — спросил Достоевский, на котором природа устала отдыхать.

— Хотим. — Произнося речи, Вольф Вольдемарович постепенно возбуждался и начинал жестикулировать так, как будто дирижировал невидимым оркестром. — Мы хотим жить, — повторил он. — Но не так сильно хотим, потому что живем не так хорошо. И это хорошо, что живем не так хорошо. Поэтому мы их не побоимся, и, прежде чем они нанесут нам удар, мы их покроем коврами бомбардировками, от них не останется ничего, кроме пепла, а мы в конце концов дойдем с одной стороны до Индийского океана, а с другой — до Атлантического и до Рима.

— Тем более, — подхватил Владик, что Рим — это тоже, как всем известно, исконно русский город.

Тут даже члены этой компании, хотя у них у всех мозги давно были вывихнуты, а языки вывернуты наизнанку, слегка поперхнулись и посмотрели на Владика с настороженным удивлением. Но он им тут же все разъяснил. Когда-то давно славянские племена, совершая большой освободительный поход, прошли Европу и весь Апеннинский полуостров, и когда входили в Рим, жители этого города, выстроившись вдоль дороги, бурно приветствовали своих освободителей и говорили друг другу: «Это русские!» С тех пор их зовут этруски.

Каким-то образом я сам оказался в этой компании и тоже попробовал влезть в разговор и, извинившись за свое невежество, задал автору вопрос, не путает ли он случайно древний Рим с современным Донецком? Тот посмотрел на меня удивленно. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что когда русские войска входят в Донецк, то тамошние жители говорят: «Это русские». Римляне должны были сказать «е russa», но если они говорили

«это русские», значит, они сами были русские.

— Правильно, — сказал Владик, ничуть не смутившись, — там уже жили русские, которым римские власти не разрешали говорить по-русски, и они вынуждены были изъясняться на латинском наречии, но когда к их городу подошли их соплеменники, они, уже ничего не боясь, могли насладиться чарующими звуками родной речи, после чего латинский язык окончательно устарел, и теперь его изучают только юристы и медики. Воспользовавшись близостью к такому ученому человеку, я решил не упустить случая и спросил, почему, как он считает, Европа, такая духовная и просвещенная, поддерживает грубых и невоспитанных укрофашистов.

— В этом ничего странного нет, — немедленно ответил мне Владик. — Не забывайте, что Европа родина фашизма.

И пошел писать докторскую диссертацию о патриотах и либералах, о которых Ленин говорил когда-то, что либералы — это люди, которые просят у правительства реформ или чего-нибудь. Но тогдашние либералы, по мнению Семигудилова, были все же лучше теперешних. Они были люди глупые, недалекие и наивные, но родиной не торговали. В отличие от сегодняшних, готовых продавать ее частями и целиком и незадорого, как секонд-хенд. Либералы, сколько их ни убеждают, не могут понять, что Россия православная, духовная и обладает особой статью, сказал Тютчев, и у нее свой особый путь, говорит Семигудилов.

Сколько живу, столько слышу об этом самом особом пути. Семьдесят лет шли особым путем, отрицая Бога. Теперь опять свой путь с иконами, хоругвями, песнопениями и Богом — Отцом, Сыном и Духом святым.

Я очнулся, и Зинуля меня спрашивает:

— Вот вы, говорят, за границей жили. И что там, неужели люди живут лучше, чем мы?

— А вы думаете, что мы живем лучше всех?

— А разве нет?

— По-моему, нет.

— А чем же там лучше?

Я отвечаю коротко:

— Тем, что там лучше.

Она просит подробностей. Объясняю:

— Везде, где есть свобода, демократия, реальные выборы, свободная пресса и независимый суд, люди живут лучше материально. Они больше уверены в своем будущем, у них меньше стресса, меньше психических заболеваний. Власть зависит от общества. Поэтому там меньше воруют, меньше берут взятки, меньше лгут, меньше пьют, меньше колотятся, меньше

гибнут на дорогах, меньше убивают друг друга по пьянке, там справедливей суды, там чище дороги, там нет бездомных детей и бродячих собак.

— Зато у нас, — она перебила, — духовность. — И, перейдя в наступление, сообщила мне все, что слышала по «ящику», что там везде засилие гомосексуалистов, там, если ты не голубой, и на работу нигде не устроишься, там привозят из России купленных или украденных детей, бьют их, убивают, расчленяют на органы, а тех, кого не расчленяют, выращивают в качестве пушечного мяса для грядущих войн. Европейцы пляшут под дудку американцев, без американцев шагу сделать не могут, а сами американцы вмешиваются в дела других стран, бомбят их, свергают одни правительства, ставят другие, Россию считают своим главным врагом. Их ненависть к России никак не зависит от нашего поведения. Как мы ни старались быть хорошими в их глазах, нам это никогда не помогало. Поэтому будем такими, как есть. И они остаются такими, как были. Они старались и стараются ослабить нашу страну и, чтобы как-то нам насолить, размещают вокруг нас военные базы, опять же подсыпают нам колорадских жуков, энцефалитных клещей, заражают наших гомиков СПИДом, а всех остальных птичьим гриппом, вирусом тропической лихорадки, устраивают в соседних с нами странах майданы и всякие оранжевые революции и вообще делают все, чтобы мы никогда не поднялись с колен. А мы мирные, добрые, открытые и душевные и доверчивые. И как хорошо мы бы жили, если бы не эти проклятые американцы. Вы со мной согласны?

Я бы согласился, если бы потерял память. Но мне помнилось, что в конце советско-германской войны я ходил в американской рубашке, американских штанах и американских ботинках, ел американскую тушенку, жевал американскую жвачку, курил (тайком от родителей) американские сигареты. По дорогам страны носились американские грузовики: «студебеккеры», «шевроле», «форды» и юркие «виллисы», небо над головой бороздили американские дугласы, аэрокобры, а попозже взлетел и «Ту-4», тяжелый бомбардировщик наш, но скопированный с американской летающей крепости «Б-29». Американцы, спасая Россию от голода, посылали ей продовольствие в конце девятнадцатого века, в начале двадцатого, делали это же во время нашей Великой Отечественной, но даже и тогда я помню, люди, уплетавшие американскую тушенку, замечали, что она сладковата, и задавались вопросом: не человечина ли в этих банках.

Where are you from

Я вспоминал одно, слышал другое, и слышанное каким-то образом трансформировалось в моем мозгу, и, снова заснув, я вдруг увидел себя едущим в «Кадиллаке» и еще подумал, что, может быть, это сон, потому что в таких машинах, как «Кадиллак», «Роллс-Ройс», «Майбах» и прочие, я обычно езжу только во сне. Хотел даже ущипнуть себя для проверки, а потом подумал, что хороший сон лучше плохой яви, и лучше я буду ездить во сне по американским дорогам на «Кадиллаке», чем наяву по нашим колдобинам на «Ладе-Калине». Так я подумал и продолжил движение по американской федеральной дороге № 1, которая мне очень знакома по прошлой жизни, я по ней не во сне, а наяву часто ездил из Принстона в Нью-Йорк и обратно, предпочитая ее скоростному торнпайку. По торнпайку все несутся как сумасшедшие, ничего, кроме машин, не видно, а здесь дорога неширокая, движение неторопливое, один городок кончается, другой начинается. По бокам небольшие дома, рестораны, магазины с красочными вывесками, мотели с водяными матрасами, на которых любят предаваться греху изменяющие своим половинам любовники. Я ехал медленно, никуда не спешил, останавливаясь перед светофорами или иными возникающими вдруг препятствиями. Так, в одном месте мне преградило дорогу переходившее с одной стороны на другую стадо овец, ведомое человеком с американским флагом в руках, в другом месте группа европейских туристов отплясывала что-то вроде твиста под дудку американца, в котором я узнал дедушку, сошедшего с рекламы ресторанов Kentucky Fried Chicken, то есть «Цыпленок жаренный по-кентукски». Они попросили меня поплясать вместе с ними, но я вежливо отказался. Они начали было настаивать, но, узнав, что я русский, поняли, что это бесполезно, даже они знали, что русские ни под чью дудку никогда не пляшут. Я поехал дальше, неизвестно куда и зачем. Ехал, равнодушно скользил глазами по витринам и вывескам, пока одна из них не заставила меня вздрогнуть. На ней был нарисован смеющийся белокурый мальчик славянской внешности, над которым яркой дугой красными буквами шла надпись: **«Human organs from Russian orphans»**. Я по-английски, признаться, понимаю не очень, но слово «Russian» знаю, а для остального у меня всегда с собой электронный словарь. Достал его, текст по буквам набрал, и он мне немедленно точный перевод выдает: **«Человеческие органы от русских сирот»**. Прочел это, глазам не верю, словарю не верю,

может, в нем что-то не так замкнулось. Перезагрузил его, снова набрал текст, и он мне тот же перевод выдает: **«Человеческие органы от русских сирот».**

Я все еще сомневаюсь. Думаю, может, шутка такая, хотя и для шутки тема, я бы сказал, не очень-то подходящая, щекотливая то есть, тема. Нет, думаю, надо посмотреть, что все это значит. Припарковавшись у входа, вошел в помещение, небольшое, чистое, с белыми кафельными полами, как полагается в магазине, торгующем субпродуктами. За прилавком одинокий продавец, полноватый мужчина, в белом халате и белой шапочке с бейджиком на груди, на котором что-то написано, но я без очков не разобрал что. В продавце я узнал Владика Коктейлева. Я немного удивился, потому что знал Владика как честнейшего из наших народных избранников и был уверен, что совесть не позволит ему нарушать закон и иметь бизнес и имущество за границей. Я, естественно, поздоровался с ним по-русски. Он ответил по-английски с сильным подмосковным акцентом, чем убедил меня, что я ошибся, потому что Владик, как я слышал, с акцентом говорит только по-русски. Значит, не Владик, но все же, мне кажется, я его где-то видел. «Вы, — спрашиваю, — случайно не из Балашихи?» Он глазами хлопает. Я ему по слогам. «Вы, — повторяю, — не из Ба-ла-ши-хи?» Ничего не понимает и отвечает мне по-своему что-то вроде «хау ар ю тудэй». И вдруг происходит чудо, какое случается только во сне: я обнаруживаю, что на самом деле я английским очень даже неплохо владею и все эти слова — и хау, и ар, и ю, и тудей — знаю и фразу всю понимаю. Значит он спрашивает: «Как вы сегодня?» Глупый вопрос. Как будто он знал, как я был вчера. И как будто это вообще его сколько-нибудь интересовало. Если бы я был тоже американцем, я бы сказал «файн», это слово я знаю, значит, «прекрасно». Американец всегда говорит «файн». Даже если его дюжина клещей будет грызть, он все равное скажет «файн». Но я не американец, и настроения лицемерить у меня не было. Поэтому я просто буркнул: ничего, нормально, в том смысле, что не ваше дело, надел очки и только сейчас увидел, что у продавца на бейджике написано «Johnson & Johnson».

— Теперь, — говорю, — вижу, что вы не из Балашихи.

— Да, — говорит он чисто по-русски, что меня почему-то не удивляет, — я не из Балашихи, я из Потылихи.

Ну, мне что Потылиха, что Балашиха — все едино, тем более что я ни там, ни там никогда не был.

Стал изучать прилавок. Под стеклом, как обычно в мясной лавке, лежали разных размеров куски мяса с каким-то текстом под каждым

кусом. Я надел вторые очки и увидел, что эти тексты содержат описание (опять все понимаю) продукта: сердце, почка, поджелудочная железа, печень — и тут же преysкурant. Точных цен не помню, но помню, что каждое пятизначное число кончалось несколькими девятками. Ну, скажем, 24 999.99. Двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто девять долларов девяносто девять центов — это бесхитростная американская уловка, чтобы покупатель не слишком хватался за голову. 25 тысяч ему покажется много, а 24, хотя и с целым хвостом девяток, в его сознании останутся двадцатью четырьмя.

Я весь товар осмотрел, цены в мобильник забил, в словарь заглянул и спрашиваю продавца, это правда, что ли, детские органы?

Он мне вопросом на вопрос:

— Where are you from, sir? — сэрoм меня называет.

Я говорю:

— Ясное дело, фром Раша. — И спрашиваю: — Это точно детские органы, а не какие-нибудь телячьи или поросячьи?

— Что вы, сэр, — обиделся продавец, — как можно? Имею (I have) сертификат соответствия, вон он в серебряной рамке висит на стене. Но вы можете верить мне на слово, потому что мы, американцы, никогда не врем.

— Совсем никогда?

— Никогда. Мы даже, когда в плен попадаем, на первом же допросе выдаем все военные тайны: номер части, калибры орудий, фамилию командира и какая зарплата у нашего президента.

— А этой торговлей занимаетесь легально?

— О, сэр, разумеется, оф корс, совершенно легально. У меня есть лицензия, вон она в золотой рамке рядом с сертификатом, и налоги я плачу аккуратно. Могу показать справку, айди и секьюрити намбер.

— Ну хорошо, — говорю я, — хорошо, ладно. Допустим, ваши негуманные американские законы позволяют такое. Но вам лично не стыдно, не страшно, не больно за этих бедных детишек?

Он моего вопроса не понимает.

— Так детишки-то, — говорит, — не наши, а русские.

— А русские, — говорю, — что, разве не люди?

Американца трудно вывести из равновесия, но этот, я вижу, начал сердиться.

— Да что вы говорите, сэр? Это же русские сироты. Они в вашей Рашке так живут, что рады бывают попасть в Америку хотя бы даже и в расчлененном виде.

Тут уж я совсем не выдержал, перегнулся через прилавок, схватил его

за грудки.

— Ах, ты, — говорю, — сволочь. Ты не только детей, ты еще и страну мою оскорблять будешь! Да я тебя сейчас самого расчленю и члены твои раздам бездомным собакам.

Он уже задыхается и хрипит:

— Не отдадите, сэр! У нас нет бездомных собак...

Я хотел сказать, что не верю, но не успел. Резко дернувшись, он вырвался из моих рук, нырнул под прилавок и вынырнул с винчестером.

— Вот, — улыбнулся он фарфоровыми зубами, — теперь я вас расчленю, сэр. Но вами собак кормить не буду, потому что наши собаки привыкли к более свежей пище. Я продам ваши дряхлые органы вашим пропагандистам, а они скормят их вашему же народу.

Он быстро передернул затвор и, не целясь, нажал на спусковой крючок. Я попятился к двери, ударился спиной о стену, увидел вспышку — и услышал женский визгливый вскрик: «Паша! Ты что так резко тормозишь! Ты же больного везешь!»

Смешанный бред

Я открыл глаза и нашел себя... Это у американцев есть такое выражение: я нашел себя. Если американец оказался вдруг в неожиданном месте, он скажет: «I found myself» там-то. Я нашел — или обнаружил — себя в автобусе и не сразу понял, что это, где это и куда меня везут. Не на тот ли свет? Из темноты высветились два женских лица. Ангелы?

— Кто вы? — спросил я. — Петя, ты что? — с тревогой спросила Варвара. — Ты не узнаешь меня? Я жена твоя, Варя.

— Вижу, что Варя. А где Джонсон и Джонсон?

— Какой еще Джонсон?

— Ну этот, который органы продавал.

— Органы? — обернулся Паша. — ФСБ? Вы имеете в виду, что они тоже продажные?

Я понял, что, видимо, еще недостаточно осознал, что продавца органов я видел только во сне, и Паше ничего отвечать не стал, только махнул рукой и спросил:

— Ну, а Иван Иванович?

— Иван Иванович? — перехватила вопрос Варвара.

— Ну, да, Иван Иванович, который до Курского вокзала ехал... И другой, до Савеловского... Они оба меня ругали, что я слишком долго живу.

— Петенька! — заволновалась Варвара. — Ты что? Какой Иван Иванович? Кто тебя ругал? Миленкий, тебя никто не ругает, тебя все любят, у тебя все хорошо.

— Он бредит, — пояснила Зинуля — Типичная картина энцефалита. — И стала объяснять мне медленно, с расстановкой: — Петр Ильич, вы находитесь в «Скорой помощи». Вас укусил клещ. Но вы не волнуйтесь, мы вас везем в больницу. Помните? В «Склиф» везем. Если б вы были академиком, мы бы оставили вас в Тоцке. А в «Склифе» принимают кого попало и вас тоже примут.

— Ах, да! — Я вспомнил. — В «Склиф». А Иванов Ивановичей не было, и мы одного до Курского, а другого до Савеловского вокзала не подвозили?

— Да вы что? Как мы можем кого-нибудь подвозить? Мы же «Скорая помощь». Хотя, если правду сказать, зарплата у Паши маленькая.

— И грудной ребенок, — добавил Паша.

— Да, — поддержала его Зинуля. — Грудной, но требует многого.

Пеленки, подгузники, распашонки, коляска, детское питание. И поэтому приходится немного бомбить.

— Бомбить? — переспросил я. — Что бомбить? Берлин? Грозный? Донецк? Дамаск? Москву?

— Опять бредит, — сокрушенно вздохнула Варвара. — Господи, ну неужели нельзя сделать ему какой-то укол?

— Какой укол? — ответил Господь Зинулиным голосом. — Укол чем? Западные шприцы запретили, а свои еще не сделали. Когда они будут, мы станем другим государством. А больному ждать некогда, когда мы станем другим государством. Он так долго не проживет, тем более без укола. Больному нужен укол, больному нужен покой, больному нужна «Скорая помощь», больному нужен водитель, который как можно быстрее доставит его к месту назначения и без всякой бомбежки.

Интересно, спросил я сам себя, почему это шофер, который бомбит, называется бомбила, а бомбящий самолет — бомбардировщик? В свое время революционеров, бомбивших своих жертв, включая Александра Второго, называли бомбистами. Теперешних называют иначе. Из бомбистов по ассоциации вспомнился Степан Халтурин. Имея целью убийство царя Александра Второго, он устроился столяром в Зимний дворец, там же жил, готовил бомбу и что-то заодно подворовывал. Но делал это не ради корысти, а для того, чтобы люди из царской obsługi, которые сами тащили все, что под руку попадало, не заподозрили в нем честного человека и чужака, чуждого чувству патриотизма, которое всегда находят в себе люди вороватых наклонностей.

— Петр Ильич, проснитесь! — завизжала Зинуля, и так громко, что я, не додумав своей мысли, снова проснулся и, естественно, спросил недовольно, кто еще пропал. — Не пропал, а нашелся! — радостно объявила Зинуля. И заверещала от радости: — Он нашелся! Он нашелся!

Пробка и малиновый пеликан

На мой вопрос, откуда она знает, что он нашелся, она показала глазами на длиннющую колонну машин, хвост которой уходил далеко за МКАД, и сказала:

— Пробку видите? Это признак.

Я попытался ей возразить:

— Да мало ли отчего может быть пробка.

— Такая пробка от чего-нибудь другого не бывает.

Ее слова подтвердил подошедший к нам гибэдэдэшник. Он сказал, что движение остановлено в связи с ожидаемым проездом Перлигоса.

— А как же быть? — растерялся Паша. — У меня же больной с клещом.

— Да хоть с лещом, — срифмовал полицейский. И добавил: — Вы же страдали, когда его не было. Теперь будете страдать в пробках.

— А где ж он все-таки пропал? — поинтересовался я.

— Любовью занимался, — предположила Варвара. — С балериной Ленкой Макаевой.

— Да ладно, — не согласился Паша. — Он в запой уходил.

— Глупости говорите, — отозвался Иван Иванович.

Оказалось, что мне он не приснился, а вот, вполне реальный, можно потрогать, сидит сзади в уголке и курит в приоткрытое окошко.

— Глупости, — повторил он. — Наш Перлигос не пьет, не курит, не колетя, а балеринами и вообще людьми не интересуется. Он считает, что люди с точки зрения экологической самые вредные существа. Вот есть, знаете, всякие вредители природы: саранча, колорадские жуки, короеды и прочие. Но существа вреднее человека в природе не водятся. Человек вырубает леса, осушает реки, отравляет моря, засоряет природу ядерными отходами, проделал в воздушной оболочке земли озоновую дыру, создал на земле условия для губительного глобального потепления или оледенения и безжалостно уничтожает животный мир. Разумеется, Перлигос не может на все на это смотреть равнодушно. Именно от человека он спасает природу и обучает выживанию тигров, леопардов, китов, удавов, морских котиков и прочих, попавших в Красную книгу. Тигров учит охотиться, дельфинов — плавать, диких гусей — летать, а теперь... — Он сделал паузу. — Теперь я вам сообщу нечто очень важное, то, что является предметом высшей государственной тайны. Топ сикрет, как говорят наши партнеры-

американцы.

— Очень интересно! — оживился я.

— Еще как интересно! — подтвердил Иван Иванович. — Но вам придется дать мне подписку о неразглашении.

Подобных документов я никогда не подписывал и от знакомства с государственными тайнами уклонялся. Потому что ознакомишься, подписку дашь, а потом тебе за границу ездить нельзя, с иностранцами общаться нельзя, даже и с женой нельзя поделиться, а я ей еще до загса обещал, что никаких тайн у меня от нее не будет. Был случай, когда мне предложили сотрудничать с одной секретной службой и обещали за это издать полное собрание моих сочинений и спецпак по четвергам. Но я им тогда сказал: не могу, поскольку жене обещал никаких секретов от нее не иметь. Они мне в ответ: ну подумаешь, мы все от наших жен что-то скрываем. На что я решительно возразил. Это, мол, для вас ну подумаешь, потому что у вас на первом месте государственный интерес. А у меня на первом месте моя жена. Вот так я им тогда сказал, и они от меня отвалили. Но в данном случае мной овладело такое любопытство, что я (тем более, что жена рядом) немедленно согласился.

— Так вот, — сказал Иван Иванович, собрав наши подписки и положив в левый карман камуфляжной куртки. — Сообщаю вам конфиденциально, что Перлигос спасает от уничтожения и вымирания всех животных, но в настоящий момент его главная забота — малиновый пеликан.

— Разве есть такие? — усомнился я.

— Они, когда совсем молодые, бывают розовые, а потом краснеют до ярко-малинового цвета. Вымирающий вид. Занесены в Красную книгу. Можно сказать, в малиновую. Они у нас вообще-то не гнездятся и в неволе практически не размножаются. На Лебяжьих островах у западного побережья Крыма в Каркинитском заливе Черного моря есть разные птицы, о которых заботится Перлигос: лебеди-шипуны, черноголовые хохотуны, чайки-хохотуны, серебристые чайки, крачки-чегравы, бакланы, цапли, фламинго и пеликаны.

— Малиновые? — спросил я.

— Разные. Белые, розовые, оранжевые, но этих всяких много, а вот малиновых осталась одна пара, и виду грозило полное исчезновение. Особенно при той власти, которая там была еще недавно. Понимаете, мы им Крым подарили, а они о крымской природе никакой заботы. Ни людей, ни животных, ни птиц не берегли, а малиновых пеликанов бывший укропский президент велел готовить себе на завтрак. Перлигос, наблюдая

за всем этим, очень переживал, но терпел. Однако когда дошло до того, что малиновых пеликанов вот-вот не станет совсем, он не выдержал, принял решение вернуть полуостров и спасти этих редких птиц, а заодно и русско-крымско-татарское население от полного истребления. С этой целью он попросил у наших сенатаров разрешения на ввод зеленых человечков.

— Для спасения пеликанов? — спросил я. — А я слышал, что это было сделано, чтобы не допустить вторжения войск НАТО.

— Ну да, для этого тоже. А почему? Потому что агрессивный блок НАТО намеревался захватить Крым, похитить пеликанов и использовать в своих целях. В крайнем случае уничтожить. Местное население поработить, превратить всех в рабочий скот.

— Ну, население меня интересует меньше всего, — заметил я мимоходом. — А вот эти самые малиновые пеликаны... Теперь, я надеюсь, им ничто не угрожает.

— К сожалению, это не так. Раньше им грозило тотальное истребление, а теперь нависла опасность полного вымирания. Во все время правления хунты они находились в состоянии столь сильного и постоянного стресса, что утратили инстинкт продолжения рода. Поэтому Перлигос взвалил на свои плечи непосильную задачу: во что бы то ни стало спасти этих редчайших птиц.

Я, понятно, поинтересовался, каков план спасения и как он исполняется.

— Перлигос лично их обучает, — был ответ.

— Обучает летать? — спросил я. — Как гусей?

— Да что вы сравниваете! — возмутился Иван Иванович. — Гуси — это просто тупые птицы. Летать они умеют, но не хотят. Перлигос старался их увлечь собственным примером, но куда там! А малиновым пеликанам пока не до летания. Речь о том, чтобы они смогли выжить, увеличить популяцию. И поэтому Перлигос их учит...

— Чему?

Иван Иванович сдвинул занавеску, глянул в окно, желая убедиться, что никто не прислонил к нему свое любопытное ухо, оглядел потолок, не понатыкано ли там жучков или скрытых видеокамер, и сказал тихо:

— Как людям, допущенным к особой государственной тайне, я вам сообщу. Он учит их размножаться.

— Что?! — не поверил я. — Первое лицо государства учит пеликанов размножаться? Каким же образом?

— Самым простым и наглядным, — сказал Иван Иванович и вовсе понизил голос до шепота:

— На яйцах сидит.

Я не знаю, сколько вопросительных знаков надо поставить, чтобы выразить мое удивление. Но Иван Иванович все разъяснил:

— Понимаете, киевская хунта довела их до такого состояния, что они даже яиц не несут. Всего два яйца осталось, а уж высиживать птенцов они и вовсе разучились. Теперь их надо учить заново, а кому это можно доверить. Да вот во всем государстве никому, кроме... Сами подумайте: если не он, то кто? Кто способен вот так, день и ночь, не сходя с места? Никто! Вот он и решил. Личным опять примером.

— И что же, днем и ночью сам лично и не сходя с места?

— Сам лично. А кто же?

— Да мало ли. У нас же есть депутаты Государственной думы, Совета Федерации и, в конце концов, Втолигос тоже имеется.

— Эх, наивный вы человек, — посетовал Иван Иванович, — столько лет на свете живете, а до сих пор не усвоили, что в нашей стране по-настоящему важное дело никому, ну никому совершенно, кроме самого-самого, доверить нельзя.

Американская оккупация и вялотекущая шизофрения

Слева от нас остановилась еще одна «Скорая помощь», справа — две пожарных машины. Они подлетели к нам с диким воем, но и их полицейский тоже остановил. Больше того, остановил полицейскую машину, которая, как я потом узнал, преследовала бандитов, ограбивших банк. Бандиты успели проскочить, а преследователи застряли. Спецфонари на крышах всех четырех машин и на нашей продолжали полыхать синим светом, но звуки сирен прекратились. Зато стал слышен истошный вой из «Скорой помощи». Это был не спецсигнал, а живой женский голос, похожий на рев пожарной сирены. И другой женский голос, громкий, взволнованный:

— Потерпи, милая, потерпи! Сейчас этот проедет, нас пропустят, мы тебя до больницы мигом домчим и там поможем. Дело государственное, приходится постоять, а ты потерпи, покричи, доедем, поможем.

Из пожарной машины выскочил толстый человек в каске, на плечах погоны с тремя большими звездами, подбежал к полицейскому и стал ему объяснять что-то, показывая на другую сторону улицы, где ярким пламенем горело какое-то здание.

— Супермаркет горит, — сказал Паша.

Полковник вернулся к машинам, из их чрева высыпала дюжина его подчиненных в спецовках из толстой парусины, в касках с золотыми гребнями, натертыми асидолом, — на вид бронзоволицые античные воины. Отблески пожара играли на касках. Пожарные тесно сгруппировались и дружно закурили. На пожар старались не смотреть.

Из «Скорой помощи» продолжали нестись душераздирающие вопли. Зинуля выскочила, побежала к соседям, вернулась, сообщила:

— Там женщина не может разродиться. А помочь ей они не могут. Я бы помогла, так нет акушерских щипцов.

— И при себе у нее не было? — спросил я не без ехидства.

— Ничего смешного, — сурово отреагировала Зинуля. — Если забеременела, то уж по крайней мере щипцами, тазомером и акушерским стетоскопом обзавестись надо.

Подкатила и стала рядом с нами еще одна «Скорая» с мигалкой. Дверцы ее распахнулись, и оттуда высыпала шумная толпа цыган с

гитарами и бубнами. Два кудрявых цыгана в атласных темно-зеленых шароварах и в красных рубашках заиграли на гитарах, дебелая цыганка с шелковой лентой в длинной темной косе застучала в бубен, и все они вместе, приплясывая, запели известную мне с детства песню: «Две гитары за окном жалобно заныли...» Это было очень необычное зрелище. Вы только представьте себе: ночь, пожар, цыгане, сверкающие глаза, отблески пламени на разгоряченных лицах... Я, конечно, не выдержал и под знаменитый рефрен: «Эх, раз, еще раз, еще много, много раз!» — выскочил к ним. Ко мне подошла старая цыганка и спросила, не хочу ли я выпить за Ираиду.

— С удовольствием. — От предложений выпить за что-нибудь я еще никогда не отказывался.

Старуха заглянула в машину и вернулась, держа в одной руке стакан водки, в другой — вилку с наколотым на нее соленым огурцом.

Я водку выпил и, закусывая огурцом, спросил:

— А кто это Ираида?

— Внучка моя, — отвечала цыганка. — Восемнадцать лет. Только замуж вышла.

— И что, свадьбу справляете?

— Нет, на похороны едем.

— Чьи?

— Ираиды.

— Той, которая замуж вышла?

— Ну да.

— А чему вы радуетесь?

— Мы всегда радуемся, когда человек уходит к богу.

Надо же, подумал я, какие бывают странные обычаи. А может быть, так и нужно. Может быть, и правда, там, куда человек уходит, ему будет в любом случае лучше, чем здесь. Может быть, там есть все, что люди хотели наладить здесь: свобода, равенство, братство, от каждого — сколько может, каждому — сколько хочет. А скорее всего, тот мир хорош тем, что там никто ничего не хочет — ни свободы, ни равенства, ни братства, ни того, что берут по способности, ни того, что дают по потребности. Ничто — это лучше, чем все, а все — обратная сторона ничего.

Не успел я до конца додумать эту глубокую мысль, как примчалась с истошным визгом тормозов и рядом с цыганской стала, как вкопанная, еще одна «Скорая» с обнаженным — по крайней мере по пояс — человеком, высунувшимся из бокового окна. Он что-то выкрикивал, но за цыганскими пением и музыкой его не было слышно. Впрочем, цыгане немедленно

прекратили веселье и устали на этого странного крикуна, находящегося, очевидно, в процессе сопротивления. Он лез наружу, но что-то тянуло его обратно, он упирался в края окна растопыренными локтями и провозглашал что-то, чего я сначала не мог разобрать. Но я понял, что над человеком совершается насилие, а когда я вижу что-то такое, меня охватывает волна сочувствия жертве и негодования против насильников. И я не могу смотреть на такие дела равнодушно — вмешиваюсь, и иногда мне самому достается при этом так, что потом приходится быть посетителем травмопункта. Сейчас я тоже не удержался и подбежал к этому несчастному:

— Сograждане! — кричал он. — Люди русские! Православные! Помогите! Защитите своего депутата! Меня похитили американские ЦРУ и ФБР. Я депутат Государственной думы. Моя фамилия... — Поскольку в другом автомобиле в это время была диким зверем роженица, фамилии оратора я не разобрал. Но дальше все было яснее. Я стал слушать. Речь оказалась длинной и произносилась с надрывом, вот ее полный текст за вычетом выкриков, которыми сопровождалась борьба похищенного с его похитителями. — Соотечественники! Россия — оккупированная страна. Она оккупирована американцами. Всеми вами управляют американцы. Имейте в виду, вы все американские агенты, хотя сами этого не знаете. Американцы захватили все наши министерства, телевидение, радио, Государственную думу, в том числе и меня. Как депутат я вас призываю: не подчиняйтесь нашим законам, все наши законы готовятся американцами. Правительство состоит из американских агентов. Перлигос, которого вы избрали на самых честных выборах, тоже американский агент. Он иногда сопротивляется, но сильно сопротивляться не может, потому что агент. Он поклялся на американской конституции, что будет честно исполнять свои агентурные задания и наносить нашей стране вред, какой только сможет. Он окружил себя бандой американских гангстеров, а те присвоили все богатства нашей страны. Они продают нашу нефть, наш газ, наше золото, наши алмазы, наших женщин и наших детей. Они покупают за границей виллы, яхты, самолеты, острова. Они спаивают нас водкой, они завозят и распространяют среди нашей молодежи наркотики, СПИД и не наши идеи. Они лишают наших пенсионеров права бесплатного проезда в общественном транспорте. Они говорят нам, что мы не такие, как все, и должны жить иначе, чем все, хуже, чем все. Они подсыпают нам в пищу специальный порошок, чтобы мы не размножались. У американцев в Москве три тысячи бойцов. Граждане!..

Мое негодование переросло в ужас, а ужас — в восхищение. Если мы

оккупированная страна, а похоже, что это так, то какое мужество надо иметь, чтобы вот так открыто выступать против оккупантов! Кто мог пойти на такое? Я стал вспоминать историю. Помнится, болгарин Георгий Димитров выступил с пламенной речью на процессе, где немецкие нацисты обвиняли коммунистов в поджоге рейхстага? Чех Юлиус Фучик в немецком застенке написал «Репортаж с петлей на шее»... А что это я привожу в пример каких-то иностранцев? Разве в нашей русской истории не было пламенных ораторов, кто своим врагам, не заботясь о последствиях, бросали прямо в лицо, точнее, в их мерзкие рожи, горящие гневом слова? Я пытался вспомнить кого-то из нашей истории, но на память пришел только революционер еще царских времен Петр Алексеев, который в Особом присутствии правительствующего Сената посулил судьям, что своими издевательствами над народом они добьются того, что «подымется мускулистая рука миллионов рабочего класса, и, огражденное солдатскими штыками, ярмо деспотизма разлетится в прах». При моей жизни что-то подобное, но не очень громко выкрикивали в судах диссиденты советского времени. Они, возможно, ожидали, что судьи и прокуроры задрожат от страха или стыдливо опустят головы, но те ничего не боялись, не стыдились и не верили никаким пророчествам, а режимы, и царский, и советский, все-таки рухнули. Они рухнули, но судьи остались как будто те же, судят людей за то же, подсудимые произносят те же примерно пламенные речи, а народ безмолвствует...

А сейчас безмолвствовали цыгане. Стояли, слушали с любопытством. Но... Я понял, что пришел момент, когда молчать нельзя, и обратился к цыганам с призывом поддержать выступающего, вырвать его из цепких когтей американских оккупантов. Я им сказал:

— Господа цыгане, ну что же вы молчите? Я обращаюсь к вам как к гражданам Российской Федерации. Вы видите перед собой героя, который открыто выступает против оккупационного режима. Давайте его поддержим. Если враги захватили его и удерживают силой, давайте силой освободим его.

Я посмотрел на тех, к кому обращался, но не видел в их лицах сочувствия. А когда я поставил точку в своем призыве, вперед выступил самый старший из цыган, такой солидный, с сединой в кудрях и золотой цепочкой на бычьей шее.

— А чего это, милоч, мы должны за него заступаться? Кто он такой?

Я говорю:

— Как же? Это же ваш депутат. Вы же его выбирали.

— Нет, — отказался цыган, — мы его не выбирали. Мы, то есть

они, — он показал рукой на всю группу, — выбирали своего барона. Меня. А ваших мы не выбираем и в ваши дела не лезем. Нам без разницы, кто вы, русские или американцы, для нас вы все оккупанты.

Он дал знак соплеменникам, и те шустро полезли в машину. Ну что мне осталось делать? Я понял, что придется в одиночку выручать героя. Я так дернул задние дверцы этой машины, что одна из них сорвалась с нижней петли и повисла на верхней. Я заглянул внутрь и увидел, как два здоровых мордатых американских санитаров тащат за ноги этого сублильного героического разоблачителя. За прозрачным стеклом в кабине сидят еще двое, очевидно, водитель и, другой, в белом халате, выездной врач, оба американцы. Они участия в насилии не принимают, а эти двое пытаются втащить бедолагу внутрь, но он им оказывает яростное сопротивление. Я решил, что должен без колебаний стать на защиту героя.

— Эй, вы! — закричал я им. — Вот ар ю дуинг, сволочиз?

Я опять частично вспомнил английский, но не знал, как на нем сказать «сволочи», и поэтому употребил русское слово с английским окончанием для множественного числа «з», и они меня поняли. Чем выдали себя с головой. Сначала так удивились моему появлению, что невольно разжали пальцы, и объект насилия чуть не вывалился в окно, но тут же опомнились, втянули его обратно, не полностью, а опять до локтей. Он застрял на прежде завоеванной позиции, а они, не ослабляя своих усилий, продолжали разглядывать меня как живое недоразумение.

— Вась, — окликнул один американец другого, — никак еще один псих на нашу голову. Возьмем?

— Да куда? Иван Иванович, — обратился второй санитар к тому, что сидел в кабине, — у нас новый пациент наметился. Что будем делать?

— Сейчас посмотрим, — вздохнул Иван Иванович.

Скажу правду, я несколько заволновался. Сейчас объявит психом и, если начнешь доказывать обратное, скрутят, наденут смирительную рубашку, вколют что-нибудь вроде галоперидола или аминазина, начнут лечить, и пока какие-нибудь правозащитники меня не вытащат из психушки, я уже буду вполне достоин того, чтобы там и оставаться. Мне захотелось сбежать, но я вспомнил, сколько мне лет, и понял, что лучше защищаться не двигаясь.

Тем временем доктор выбрался из кабины, приблизился ко мне, и в нем я узнал, вы не поверите, того самого Ивана Ивановича, который собирался доехать с нами до Курского вокзала.

Увидев его, я просто ахнул:

— Иван Иванович? Вы?

Он говорит:

— Я. А что, вы меня знаете? Вы у меня лечились? Ну да, я вижу — лицо знакомое.

— Ну как же, — я отвечаю, — конечно, знакомое. — Мы же с вами вместе вот в той машине ехали. Я в «Склиф», а вы на Курский.

Он удивился:

— Я? На Курский?

— Или на Савеловский.

— Чушь какая-то. Я на дачу по пятницам езжу с Казанского.

— На дачу вы, может, и с Казанского. Но на Курский вы ехали с гранатометом, на Савеловский с удочкой, а меня уговаривали выступить против существующей власти.

— Я вас уговаривал выступить против власти? Вася! — крикнул он. — У нас галоперидол есть?

— Есть, — отвечает Вася, — только поддельный.

— Давай, какой есть.

Появился Вася с большим шприцом, предназначенным, возможно, для лошадей. Иван Иванович взял шприц и, выставив его против меня, как ружье, прицелился.

Честно говоря, я особенно не испугался. Я только спросил:

— Извините, а у вас поменьше шприца не найдется?

— Еще чего захотел, — хмыкнул доктор. — Поменьше — это заграничные, а у нас импортозамещение.

— Стойте! Стойте! Не стреляйте! — выскочила откуда-то Варвара, стала между мной и шприцом и раскинула в стороны руки.

— Дамочка! — взвизгнул Иван Иванович. — Не мешайте мне лечить больного. Имейте в виду, он опасен для окружающих.

— Вы что? Кто опасен? Это мой муж, знаменитый писатель Петр Смородин.

— Простите, — сказал доктор, опуская руку с шприцом. — Я не ослышался? Вы действительно Смородин? Автор «Зимнего лета»? То-то я думаю, что где-то вас видел. А видел я вас не далее как в субботу по телику. Можно у вас автограф?

— Вот, — сказала Варвара, — автограф. А только что говорили, что он опасен?

— Конечно, опасен, — возник перед нами тот другой Иван Иванович, с удочкой и ведерком, явившись откуда-то из темноты. — Писатели вообще люди опасные. Опаснее даже энцефалитных клещей.

Сказав это, повернулся и пошел прочь.

— Куда же вы? — крикнул я ему вслед. — Вы же хотели до Савеловского...

— Дойду пешком, — отозвался он из темноты, — недалеко.

Один Иван Иванович ушел, другой остался. Я охотно дал ему автограф, а он сказал, что я его самый любимый писатель — что, признаюсь, очень польстило моему самолюбию. Все-таки приятно иметь доказательства того, что пишешь не впустую, что кого-то тексты твои задевают, трогают. Что какие-то люди, прочтя их, может быть, становятся чуточку лучше, и этот врач если раньше легко соглашался употреблять свои психиатрические навыки в борьбе, допустим, с политическими противниками режима, то по прочтении моих книг делает то же самое, но не очень охотно.

Мы с доктором разговорились, и я спросил его, правда ли он работает в ЦРУ или ФБР.

— А, — понял он, — это вы наслушались нашего пациента. Я патриот своей страны и с иностранными органами не сотрудничаю.

— Понял, — кивнул я, — сотрудничаете только с нашими. А он, значит, врет?

— То, что он несет, это не вранье, а бред. Разве не видно?

— Не знаю, — говорю. — Я же не врач.

— Да тут и неврачу ясно. Типичный параноидальный бред с явными признаками мании величия и преследования. Выдает себя за депутата Сидорова.

— Кто — он? Что вы! Не верьте. Депутат Сидоров — образованнейший человек. Государственный советник первого класса. Кандидат наук. Такие глупости он говорить не может.

— Вот-вот, я это же говорю. Но он предъявил удостоверение депутата, и мой санитар Василий утверждает, что именно его много раз видел по телевизору. Причем, как Вася говорит, он его видел одновременно по разным программам и по всем — в прямом эфире.

— А может быть, это был его брат-близнец? Или несколько близнецов.

— Я навел справки. Нет у него никаких братьев.

— Ммм. — Я задумался. И вдруг меня озарило: — Если это не он и у него нет близнецов-братьев, это значит...

— Что? — шепотом спросил доктор и оглянулся.

— То, — ответил я и тоже понизил голос до шепота: — Это значит... Значит, его клонировали.

— Не думаю, — возразил доктор. — Присутствие одновременно в разных реальностях — это признак обыкновенной шизофрении.

— Не могу вам противоречить, я не врач. Но ведь не только он сам себя, а миллионы зрителей одновременно видят его на разных программах в прямом эфире.

— Ну да, — сказал доктор, — сегодня шизофрения стала массовым заболеванием, которым поражено девяносто процентов нашего населения.

— Но это же настоящая пандемия, — сказал я. — С чего бы она возникла?

— А вы не догадываетесь? — Иван Иванович насмешливо посмотрел на меня. Я посмотрел на него и вдруг понял то, во что никак не хотел верить и над чем даже, чистосердечно признаюсь, много лет насмехался.

— Неужели американцы? — спросил я, все еще пытаюсь не поддаваться догадке.

— Ну, а кто же? — сказал Иван Иванович, и вдруг я увидел, что он раздвоился и передо мной два Ивана Ивановича, совершенно одинаковых, и один из них сказал: «Ну, а кто же?», а другой: «Кто еще, кроме них?» — «А что это с вами? Что это вы побледнели?» — спросил первый. «Может, вам все-таки галоперидольчику? Да не бойтесь, вреда не будет, он же поддельный», — предложил второй. «Ну, смотрите, — отступил первый. — Но если что, вот на всякий случай». И протянул мне свою визитную карточку. «Обращайтесь в любое время», — сказал второй и протянул свою карточку. Я взял обе и вернулся в машину.

— Что с тобой? — встретив меня, взволнованно спросила Варвара.

— А что? — спросил я.

— Ты какой-то бледный и весь дрожишь...

— А ну-ка подождите! — подскочила Зинуля. — Так, смотрите сюда! Сколько пальцев вы видите?

— Два, — сказал я.

— Все ясно, — вздохнула она и села на свое место.

— Что? — спросила у нее Варвара.

— Ничего особенного. Я ему показываю один палец, а он видит два.

— И что?

Зинуля ничего не ответила.

— Я вас спрашиваю, что это значит? — настояла на своем вопросе Варвара.

— Это значит, — неохотно ответила Зинуля, — что надо срочно в клинику. Нельзя терять ни минуты.

— Так чего ж мы стоим? — засуетилась Варвара. — Давайте уж поедem!

— Ну как же мы поедem? — Зинуля развела руками и чуть не

заплакала. — Как же мы поедem, когда тут видите, что творится. Пиндосы проклятые! Как же я их ненавижу!

Прогулка

На этот раз я спал часа полтора. При этом сон мне снился какой-то двойной. Как будто я одновременно и здесь и там. Дурной признак. Только шизофреникам, как я слышал, снятся двойные сны. Проснулся, смотрю: все мои попутчики впали в спячку. Паша всхрапывает, как лошадь, положив голову на руль, Варвара сопит, прижавшись боком к спинке кресла, Зинуля — прислонившись щекой к окну. Я вспомнил, что было перед тем, как я заснул, и сам себе показал один палец, в страхе ожидая, что увижу два. Но увидел один и подумал, что же было перед тем, как я заснул? Или я все время спал и опять перепутал сон с явью? Пока спал, вокруг ничто не изменилось. Но роженица в соседней «Скорой» уже не кричит, а только стонет. В машине, из которой торчал псих, выдававший себя за депутата, тишина, и доктор (я его вижу) дремлет рядом с водителем. В третьей машине, где были — или мне приснились — цыгане, тоже было тихо, а вот горящий супермаркет мне точно не приснился, потому что и сейчас он горел. И пробка была настоящая, но полтора часа назад ее хвост кончался где-то у МКАДа, а теперь, как сообщили по радио, дотягивался чуть ли не до Можайска. Теперь, даже когда возобновится движение, пробка рассосется нескоро. Водители, потеряв надежду, выключили моторы и фары. Вокруг стало намного темнее, на поблекшем фоне еще ярче пылал супермаркет, и пламя его отражалось на касках и суровых лицах сидевших на земле через дорогу пожарных. Я, пока все спят, решил размяться. Вышел наружу и пошел вдоль бесконечной линии застывших один за другим автомобилей.

Прошел несколько шагов, и вдруг сзади кто-то хлопнул меня по плечу. Признаюсь, я вздрогнул. Я очень не люблю, когда ко мне кто-то подходит сзади. Тем более ночью. Я остановился и повернул голову. Передо мной стоял и улыбался странной улыбкой молодой человек в джинсах, кожаной куртке, с косичкой, перекинутой через левое ухо. Лицо его мне настолько напоминало одного типа, что вызвало у меня вопрос «неужели?», но я все-таки сказал себе: «Не может этого быть».

— Здравсьте, здравсьте! Рад видеть вас гуляющего по улице, живого и без охраны. Петр Ильич, меня уволят с работы, если узнают, что я встретил вас и не взял интервью.

— А вы кто?

— Корреспондент агентства «Рашен ревью».

— Американское агентство?

— Нет, самое что ни на есть нашенское. Доморощенное, ха-ха. Название для привлечения публики. Английское название вызывает больше доверия. У нас же, когда видят что-то написанное кириллицей, не доверяют. Можно я задам вам буквально пару вопросов?

— Хоть две пары, — согласился я, как вскоре выяснилось, слишком беспечно.

— Скажите, почему вы против присоединения к нам Крымского полуострова? Вам кто-нибудь за ваше мнение заплатил? — он поднес к моим губам диктофон величиной со спичечную коробку.

Мне его надо было сразу послать подальше, но я человек вежливый.

— Нет, — говорю, — к сожалению, никто мне за это не заплатил. У меня, видите ли, мысли сами по себе иногда совершенно диким образом в голове рождаются, и, представьте себе, совершенно бесплатно. То есть они при всем моем желании и к великому моему сожалению никак не превращаются в деньги.

— Вот этого я не понимаю, — сказал он. — Я думаю, что мысли, которые не стоят денег, не стоят того, чтобы их высказывать.

— Как же, — говорю, — как же? Видите ли, есть такая штука, стремление к истине. Попадают же еще в жизни такие люди, для которых истина дороже всего, дороже любых денег.

— Есть, есть, — охотно согласился он. — Конечно, попадают. Я сам недавно навещал большую группу таких в институте имени Сербского.

Упоминание этого института меня, помнящего о специфическом профиле этого научного учреждения, правду сказать, насторожило. Тем более после недавней встречи с депутатом и его доктором.

— Это вы на что же намекаете? — спросил я.

— Да ни на что. Просто рассуждаю, ищу, как вы говорите, истину. Правда, я за это получаю неплохую зарплату и тем отличаюсь от пациентов института имени Сербского. Так вот, рассуждая, я думаю, что ну не может такого быть, чтобы нормальный человек что-то такое вынашивал без всякой выгоды для себя.

— Слушайте, — сказал я ему, — мне кажется, где-то я вас раньше видел.

— Возможно, — сказал он. — Земля круглая, могли пересечься. Но я все-таки про Крым. Не думаете ли вы, что если бы мы его не вернули, то на Севастопольском рейде уже качались бы американские авианосцы?

Конечно, я как патриотически настроенный гражданин только при одной мысли об этих качающихся на черноморской волне иностранных

кораблях должен был содрогнуться от ужаса, но я, представьте себе, не содрогнулся.

— Да черт с ними, — говорю, — пусть себе качаются.

— Эх, — вздохнул он печально, — сколько вас ни учили, сколько ни воспитывали, а чувства бдительности не привили. И вы, дожив до преклонных лет, не понимаете, каким постоянным опасностям мы подвергаемся. Вы не понимаете, что нам противостоит весь мир. Что на нас надвигается Европа, растленная, безнравственная, бездуховная, со своими ложными ценностями, однополыми браками и населением, зачатым в пробирке. Неужели вас это не беспокоит? Нет? И вы даже не боитесь приближения к нам блока НАТО?

Я внимательнее пригляделся к его невзрачным чертам и даже плюнул с досады:

— Черт побери, Иван Иванович! Я вас опять не узнал. Потому что вы, мне кажется, еще больше помолодели.

— Да, — согласился Иван Иванович, ничуть не смутившись. — Помолодел. Потому что у нас, в нашей службе, идет обновление организма. Да, мы меняемся, а вы, к сожалению, нет.

— По вам это очень заметно. И косичка у вас такая молодая. Не седея совсем. Кажется, и не вшивая. Кстати, можно вас за нее подергать? — спросил я и протянул руку.

— Нет-нет, — отшатнулся он, и выдал себя с головой. Я понял, что косичка у него не просто косичка, а косичка с вплетенным в нее микрофоном. В чем он тут же меня убедил, выведя ее из-за уха и направив на меня. — Ну так что все-таки, — очень серьезно и недружелюбно спросил он, — вы правда не боитесь приближения к нашим границам НАТО?

Я хотел было по привычке соврать, что боюсь, ужасно боюсь этого НАТО, что оно придвинется к нам со своими базами, что оно сделает нам еще что-то — что именно, я не знал — плохое, и вдруг я подумал: а с чего я должен бояться этого НАТО. Ну, приблизится оно, и что оно мне сделает? Зачем я ему буду нужен? И тут меня прорвало, и я закричал на этого Ивана Ивановича:

— А не пошел бы ты туда-то и туда-то! Не надо меня стращать! Я не боюсь приближения НАТО. Я боюсь вашего приближения к моему дому, к моему телу, к моей душе. Я вас боюсь, всех ваших служб, которые на три буквы, вашу полицию, Следственный комитет, прокуратуру, суд, вашу Государственную думу и ее депутатов, вашу вертикальную демократию, ваши вагонзаводы, народные фронты, антимайданы и девяносто процентов

вашего электората, который раньше назывался народом, а на самом деле весь вместе есть черт знает что.

Иван Иванович все это выслушал, записал на диктофон, проверил качество записи и сказал:

— Хорошо, я доложу, но напрасно вы так о народе. Народ — это понятие святое, — добавил он и, перекрестившись, растворился в ночном эфире.

А я пошел дальше вдоль выстроившихся в колонну по одному автомобилей разного вида и назначения. Стояли тут старые «Волги», потрепанные «Жигули», новые «Лады», один «Запорожец» первой конструкции, горбатый, который, как говорили, собак боялся. Но больше было иномарок, всяких «мерседесов», «фольксвагенов», «ягуаров» и прочих. Стыли в общей очереди четыре автозака с надписями на бортах «Узники совести» и грузовики с крытыми кузовами. На их бортах белели трафаретные надписи: «Груз 200», «Груз 300» и «Груз 400». Я уже знал, что «груз 200», или просто «двухсотые», — это убитые, а «трехсотые» — раненые, что же касается «четырёхсотых», то, как мне объяснил один информированный прохожий, это наши отважные добровольцы, которые кто в Донецк, кто в Дамаск едут «четырёхсотыми», а обратно имеют шанс вернуться «трехсотыми» или «двухсотыми».

«Четырёхсотые» были юны, худосочны и прыщавы. Сидевшие в задних рядах выглядывали из-под брезента, протягивали ко мне тонкие руки и, называя меня кто отцом, кто дедом, просили закурить, на что я отвечал, что сам не курю и им не советую, поскольку молодому истощенному и неокрепшему организму никотин может нанести непоправимый вред. За грузовиками стояла еще вереница военных автобусов, в которых ехали герои революции, Гражданской войны, Великой Отечественной, афганской, чеченской, украинской и прочих. В числе героев были двадцать шесть бакинских комиссаров, двадцать восемь героев-панфиловцев, тридцать восемь литовских снайперш в белых колготках и штук сорок распятых мальчиков.

Грузовики и автобусы никто не покидал, зато из других гражданских автомобилей водители и пассажиры повылезали наружу размяться, пописать и покурить. Пассажирами были люди всяких современных профессий: дилеры, менеджеры, провайдеры, промоутеры, девелоперы, риелторы, диджеи, мерчандайзеры и два омбудсмана. Все они разбились на отдельные группки. Приблизившись к одной из этих групп, я услышал, как они громко говорят о первом лице государства. Будучи сильно испорчен прежними обстоятельствами жизни, я ожидал от них чего-нибудь такого

критического, и был сильно разочарован тем единодушием, с каким они одобряли все, что он для них сделал, и говорили о любви к нему такими словами, каких, возможно, никогда не слышали от них их невесты и жены, не говоря уж о матерях. Казалось бы, слыша такие слова, я как гражданин должен был только радоваться, но мне, скажу вам честно-пречестно, мне так надоело жить в условиях пылкой и жертвенной любви народа к существующей власти в любом ее виде и так от всего этого тошнит, как если бы меня принудили всю жизнь питаться одной только черной икрой. Я включил фонарик в моем айфоне и пошел, как Диоген, искать Человека. Я имею в виду человека, который обладает человеческим качеством быть хоть иногда, хоть чем-нибудь недовольным. Я шел и каждому встречному задавал один и тот же вопрос: «Крым наш?» Он отвечал: «Наш», и я шел дальше, пока не увидел стоящий в общей веренице машин скромный бежевого цвета микроавтобус с красными дипломатическими номерами и надписью на борту прямо-таки не нашими буквами «State department of the United States of America».

Цена вопроса

Как я вам уже докладывал, я по-ихнему иногда, когда очень прижмет, немного кумекаю. Поэтому, увидев надпись на автобусе, я сразу понял, что это и есть тот самый пресловутый Госдеп, о котором я так много слышал, точнее, его мобильный филиал. Надо же, прямо на нашей московской улице стоит, и непонятно, как это допускают ФСБ и полиция! Может быть, правду тот псих, выдававший себя за депутата, говорил, что страна наша оккупирована американцами? Тогда и передвижному госдепу в Москве нечего удивляться. Не удивился я и стоявшей к нему очереди мужчин и женщин жалкого вида, все в майках с портретами американского президента, некоторые с американским флагом, а другие с надписями на груди: «I love America», «I love American cookies» («Я люблю американское печенье») и «Obama is great!» («Обама велик!»), но все в одинаковых бейсболках, на которых на каждой по-русски написано: «Иностранный агент». Я было пригорюнился, подумав, что мне такую очередь не выстоять, но тут кто-то меня узнал, шепнул следующему, и по очереди прошел шелест: люди из уст в уста передавали мою фамилию, а потом все повернулись ко мне, стали мне аплодировать и предложили пройти без очереди. Не скрою, все-таки иногда приятно быть узнаваемым. Не только по причине естественного тщеславия, а еще и потому, что, благодаря моей известности и репутации, люди довольно часто оказывают мне всякие полезные знаки внимания, порой даже уступают место в метро. Тем более приятно было внимание моих заведомых единомышленников в том смысле, что я, хотя формально и не считаюсь иностранным агентом, по существу давно им практически являюсь, распространяя провокационные слухи, что там люди живут лучше, чем здесь. Но прежде, чем воспользоваться великодушием стоявших в очереди, я задал им общий вопрос по поводу Крыма, и только после того как они хором ответили: «Не наш!» — я двинулся вперед, и у входа в автобус столкнулся с выходившим из него солидным мужчиной с окладистой седоватой бородой, в старинном демисезонном пальто с мерлушковым воротником. В руке у него была толстая, тяжелая трость с набалдашником в виде собачьего черепа. Лицо его было мокрым, очевидно, от слез. Должно быть, с ним что-то случилось. Мне показалось, что этого человека я где-то видел, то ли живьем, то ли в кино, то ли по телевизору, точно сказать не могу. Я даже хотел с ним поздороваться, но замешкался, не зная, как правильно ему сказать, хеллоу

или здрасьте, но он от меня отвернулся, лицо прикрыл свободной от трости рукой и быстро зашагал в сторону заросшего сорной травой пустыря. Мне стало очень любопытно, что он в микроавтобусе делал, кто довел его до слез и почему. Я по старой привычке оглянулся вокруг, не следит ли кто за мной, но ничего не понял, потому что среди этих нежелательных иностранных агентов могли быть и желательные отечественные, которые стоят здесь под видом нежелательных иностранных. Короче говоря, в полном недоумении я быстро юркнул в эту машину. Там, смотрю, тепло, уютно, откуда-то льется тихая музыка, перед низким столиком вроде журнального в мягком кресле сидит высокий человек в оранжевых джинсах и такого же цвета футболке с электронной сигарой во рту и стаканом виски в руке. Такое ощущение, что я где-то его уже видел — весьма частое, надо заметить, у меня ощущение... То ли на каких-то карикатурах сороковых годов прошлого века я видел этого, в оранжевых этих штанах, то ли живьем... Вижу, на правой стороне груди у него бейджик. И имя знакомое: Джонсон энд Джонсон.

— Хеллоу, — говорю ему, — мистер Джонсон энд Джонсон. Хау ар ю тудэй...

— Хай, — отвечает, не вынимая изо рта сигары. — А вы, собственно, кто?

Я назвал,ся, ожидая, что он ахнет, всплеснет руками: «Как же, как же! Какая честь!» А то и признается, что читал в переводе «Зимнее лето». Он, однако, и ухом не повел, но поинтересовался сквозь зубы:

— Хай! Вот ар ю лукинг фор?

В том смысле, что вы, мол, здесь потеряли?

— Да ничего, — говорю, — просто зашел поздороваться и узнать, не найдется ли для меня какой-нибудь работенки.

— Что, — говорит он, — вы имеете в виду?

— Ну вот, — говорю я, — слышал, вы всяким оппозиционерам так называемым, ну тем, которые родину нашу вам продают, ходят на марши предателей, Государственную думу называют Государственной дурой, ругают первое лицо нашего государства и смеются над вторым, вы им вроде за это платите много денег. Ну так, может, и мне что-то подкинете?

Он так насмешливо на меня посмотрел, пожевал кончик сигары, отчего она заискрилась, и затрещала.

— А вам-то, — говорит, — за что? Вы что для нас можете делать?

Темный человек! Ничего про меня не знает! Пришлось объяснять:

— Да что хотите. Могу подрывать основы, наносить урон престижу, ослаблять боевой дух, сеять панику и высмеивать все, что на глаза

попадется.

Тут этот двойной Джонсон оживился, сказал, что его можно звать просто Джон и даже виски предложил.

— Вам, — говорит, — с водой или со льдом?

— Просто виски — говорю, — двойную порцию.

— Хорошо.

Он щелкнул пальцами. Тут же откуда-то появилась черная девушка в белом переднике. Подала мне виски бурбон, больше чем полстакана, соленые фисташки на блюдечке, и, когда повернулась, чтобы уйти, я понял, что передник был единственным предметом ее одеяния. Я произнес тост. Предложил выпить за президента Обаму, за американский госдепартамент и продвижение на восток агрессивного блока НАТО.

Чокнулись. Погрызли орешков.

— А как конкретно вы все это умеете делать? — спросил он.

— Что именно? — спросил я.

— Ну, вот это все, что вы говорили. Подрывать, наносить, ослаблять, высмеивать...

— А вы не знаете? — удивился я. — Так я же писатель-сатирик. Довольно-таки, между прочим, известный, — добавил я на всякий случай.

— А-а, — разочарованно протянул американец, — писатель-сатирик... Только что у меня был ваш коллега. Тоже писатель и тоже сатирик и, пожалуй, поизвестнее вас.

— Кто же это? — спросил я ревниво и, перебирая в уме, никого известней себя не вспомнил.

— Ну, этот... — американец напряг память, — Щедрин.

Мне полегчало.

— Щедрин, — поправляю, — не писатель, а композитор.

— Тогда, — говорит, — не Щедрин, а Салтыков.

— А Салтыков, — говорю, — и того хуже, кинорежиссер. К тому же он к вам прийти не мог, потому что десять лет как умер.

— Да нет, — махнул американец с досады рукой. — Не Щедрин и не Салтыков, а оба, как говорится, в одной бутылке. Этот ваш... как его?

— Салтыков-Щедрин, что ли? — догадался я и вспомнил того, заплаканного, с кем столкнулся у входа, с мерлушковым воротником на пальто.

— Именно он, — сказал американец, довольный тем, что его наконец поняли. — Ваш писатель-сатирик. Классик.

— Ну да, — говорю, — отрицать не буду, классик. Но он совсем давно умер. Еще давнее, чем режиссер Салтыков.

— Вот, — покачал головой американец, — я тоже думал, что он умер, а он говорит, что, пока Россия остается такой, какая есть, он бессмертен. Я давно заметил, — сказал он, попыхивая сигарой, — что нигде в мире нет столько бессмертных покойников, как в России.

Мне ничего не осталось, как согласиться:

— Да уж, кого-кого, а бессмертных у нас хватает. Почти столько же, сколько еле живых. А еще есть один вечно живой. Лежит в Мавзолее. А что, Салтыков-Щедрин тоже предлагал вам свои услуги?

— Предложил. Сказал, что может написать продолжение города... Этого... Ну, «Сити оф стьюпидити».

— Продолжение «Истории одного города»? И вы отказались? — вскричал я в возмущении.

— Нет, мы не отказались, но я посадил его перед телевизором, поставил DVD с записью заседаний вашей думы и говорю: «Вот вам ваше Сити оф стьюпидити».

— Представляю, — сказал я, — представляю себе, как Михаил Евграфович плевался.

— Что вы! — сказал американец. — Он сначала очень смеялся. А потом плакал. Очень сильно плакал. Признался, что никакого гонорара не заслужил. Вы, говорит, не тратьте зря деньги ваших налогоплательщиков. Не нанимайте иностранных агентов. Не боритесь с этой властью. Они без вашей помощи сделают сами больше, чем вы хотите. Подорвут основы, нанесут ущерб престижу, ослабят боеспособность, все разворуют и выставят сами себя и всю страну в таком смешном виде, в каком это недоступно никакому гению нашего жанра. Ни Свифту, ни Гоголю, ни даже мне. Я столько лет, говорит, потратил на то, чтобы довести до совершенства свое сатирическое мастерство, и многие люди до сих пор считают меня великим писателем. Но какой я великий на фоне этих людей? Что такое, — сказал он, — город Глупов? Жалкая пародия на то, что они делают сегодня. Я придумал градоначальника Органчика, я представил себе глуповцев, которые головами тяпаются и щуку с колокольным звоном хоронят, но такого, чтобы царь летал в голове журавлиного клина, для такой выдумки я слишком, слишком бездарен, сказал он и расплакался пуще прежнего. Я хотел ему дать немного денег хотя бы на метро, но он лишь рукой махнул и убежал.

Мы помолчали. Я допил виски. Джон спросил:

— Вам добавить?

Я сказал:

— Нет, спасибо.

И посмотрел на него вопросительно.

Он пожал плечами и, разведя руками, пробормотал:

— Я очень себя извиняю, но у нас сейчас такой бюджетный дефицит, такой внешний долг... I'm sorry.

Я понял, что это вежливый отказ, и огорчился, но обиделся не на американцев, а на депутатов Государственной думы, на высших чиновников нашего государства, церковных иерархов, которые так себя ведут, такие идеи рождают, такие речи произносят, что сатирику ничего не остается, кроме, в лучшем случае, жалкого копирования. Такие у них фантазии, что куда мне с моими доморощенными потугами. А врагам существующего режима или нашим иностранным агентам и вовсе делать нечего. Разве что сидеть, потирать руки и радоваться, что все за них делается. И сожалеть лишь о том, что грантов им не дают.

Я уже взялся за ручку двери, когда этот Даблджонсон остановил меня междометием.

— Эй! — позвал он. — Мистер... мистер...

— Смородин, — подсказал я.

— Да, мистер Сымордин. Вот я хочу спросить вас один вопрос. А вы не хотели бы совершить в вашей стране революция?

— Что? — говорю. — Революцию? Это в каком же смысле?

— Революция, это когда много люди выходят на улицу, жгут покрышки, бьют стекла, бросают коктейль Молотов.

— Да, знаю, знаю, видел по телевизору. А при чем тут — я хотел бы или не хотел?

— Если бы вы захотел произвести и возглавить в вашей стране революция, мы вам поможем. Мы сами не можем вмешать себя в ваши внутренние дела, но если вы будете произвести революция, мы будем вам охотно помочь сзади.

Не могу передать, какая буря поднялась в моей душе! Мне сразу стало и жарко, и холодно, и пот выступил на ушах. Я сел на стул и попросил налить мне еще бурбону. Он налил полстакана. Я выпил залпом и на всякий случай спросил определенно:

— Вы хотите, чтобы я устроил в своей стране революцию?

— Но мы вам будем заплатить.

— Но вы же понимаете, что я не по этому делу. Я не революционер. Я могу только словами... бла-бла-бла, и ничего больше.

— Напрасно скромничаете. У вас еще недавно за, как вы говорите, бла-бла-бла большие сроки давали, и есть надежда, что скоро опять будут давать.

— Это все возможно, — согласился я. — У нас слово ценят. У нас за слово иногда даже убивают. Но революция в своей стране... Нет уж, вы меня на такое дело не подбивайте.

— Но мы вам будем очень хорошо заплатить.

Я предполагал, что не соглашусь ни за какие деньги, но все же поинтересовался — из чистого любопытства:

— Сколько?

У него на столе была стопочка квадратных листков бумаги для записок. Он взял один листок, написал число и показал мне. Ух ты! Я аж присвистнул от изумления. Но все же уточняю осторожно:

— Это в деревянных или в зеленых?

Он усмехнулся.

— В любых, какие вам нравятся.

Если б вы видели эту сумму, у вас бы тоже голова закружилась. Я думаю, что если такие деньги предложить любому из наших патриотов, хоть Семигудилкову, хоть Полканову, да хоть Буги-Вугину, они бы согласились немедленно.

Я решил уточнить: а какую, мол, вам революцию — розовую, оранжевую... или? Джон сказал: любого цвета, лишь бы была настоящая, с баррикадами, булыжниками, крышками и коктейлями Молотова.

— Хорошо, — говорю, — в принципе, я не против. Но с кем революцию делать? Я, конечно, и один могу выйти...

Джон поморщился.

— Один, — заметил он, — это не революция, а одиночный пикет. Вы должны вывести на улицу не себя одного, а весь русский народ.

— Ха, — говорю, — легко сказать народ. А где я его возьму?

— Как где возьмете? У вас в стране сто сорок шесть миллионов. Если хотя бы половину вывести на площадь...

— Так это ж, — говорю, — не народ, а население. Оно на площадь не выходит. Оно когда не на работе, дома сидит, пьет водку и таращится в телевизор.

— У вас в соседней стране такое же население.

— Там не население. Там народ. Он чуть что, на майдан выходит и свергает неугодных правителей. У них, ненормальных, одного человека убьют, так они всем народом волнуются.

— А у вас?

— А у нас волнуются только сетевые хомячки. Надевают белые ленточки, гуляют, улыбаются друг другу и надеются, что власть от их улыбок немедленно рухнет. А чтоб население стало народом, чтобы

зашевелилось, возмутилось, его надо очень сильно разозлить или обидеть.

— Вот и займитесь этим. Вы же умеете и злить, и обижать, как я слышал.

Ага, все-таки слышал! А делал вид, будто не знает, кто я такой. Ладно, сделаем вид, что я проговорки не заметил. Объясняю, что талант мой не столь универсален, как ему, может быть, кажется.

— Злить и обижать я умею не всех. Власть имущих сколько угодно, но народ, это уж, извините, для меня святое.

— Но я же вас прошу сердить не народ, а население. А когда оно станет народом, тогда и без вас рассердится.

Я не мог не признать, что логика в словах Джонсона энд Джонсона есть. И она мне, когда я еще раз взглянул на написанные им цифры, показалась достаточно убедительной.

Мы ударили по рукам, составили протокол о намерениях, и Двойной Джонсон предложил выпить за успех двойное виски. Что мы и сделали. После чего я попросил выплатить мне аванс. Он сказал, что аванс они не дают, а оплачивают всю работу аккордно после ее завершения. Это мне не понравилось. Мои издатели обычно не любят слово «аванс», считая его каким-то не нашим. Всегда предлагают вместо аванса роялти, то есть проценты, которые я получу потом с каждого проданного экземпляра. Но я-то знаю, что потом, когда спрошу про роялти, они мой вопрос пропустят мимо ушей и сделают вид, будто слово «роялти» тоже им кажется чужеродным.

Я входил в автобус, а вышел как будто из какого-то здания. Вышел-то вышел, но дальше идти не смог, потому что путь мне преградили преклонного возраста тетки, которые перед подъездом здания стояли широким полукругом со злобными лицами и картонками, на которых было написано что-то вроде: «Майдан не пройдет!» «Yankee go home», «НАТО — ГОВНАТО», стишок: «Нам даже редька или репа вкусней печенек от госдепа», «Обама, руки прочь от моей пенсии!»

И среди этих теток, я смотрю, стоит... кто бы вы подумали?.. наша Шура с картонкой, на которой написано: «Обама — чмо!»

Увидела меня, удивилась, перепугалась, стала прятаться за спину своей соседки.

Я, естественно, шагнул к ней, соседку отодвинул и говорю:

— Ты что здесь делаешь?

Стоит молчит. Я повторил вопрос.

Пришла в себя.

— Да так вот просто стою. А вы клещика уже вынули?

— Ты мне клещиком зубы не заговаривай. Я тебя спрашиваю, что ты здесь делаешь и что у тебя написано? Кто такой Обама, ты знаешь?

— Ну, этот...

— Этот кто?

Молчит.

— Ты можешь мне сказать, кто он, этот Обама?

— А чего спрашиваете? — вмешалась отказница от печенек. — Тут же написано: «Обама — чмо».

— А я, — говорю, — с вами не разговариваю. — И опять обращаюсь к Шуре: — Как ты сюда попала?

Мнется, отвечает неуверенно:

— Погулять вышла, а тут, смотрю, народ, ну я и это...

— Ага, за двадцать километров вышла погулять — а тут народ... Ну, а все-таки, что за лозунг ты держишь?

Она такую рожу скривила невинную:

— А я не знаю. Мне дали.

— Кто дал?

— Так этот же... Тимофей Сергеевич.

— Семигудилов? И заплатил тебе?

— Обещался.

— Сколько?

— Сто рублей.

— Всего-то?

— А что же. Я женщина простая, деревенская, малограмотная. Мне столько, сколько вам, не дадут.

Она начала рыдать, каяться, а я ее стал стыдить:

— Эх, дура ты, дура дурацкая! Как же, — говорю, — ты ночью дом оставила, собака одна взаперти, может, ночью от страха воет, а ты здесь с этой идиотской картонкой за сто рублей!

Пока я ее стыдил, а она рыдала, мне стало жаль ее.

— Ладно, — говорю, — брось эту гадость и иди домой, а сто рублей Семигудилову брось в морду. Я тебе дома верну вдвойне.

Не помню, как дошел до машины. А там все то же. Машина наша стоит среди других — большая у светофора для столь позднего или, наоборот, слишком раннего времени толпа. Вдоль дороги выстроились в ряд собранные по разнарядке представители рабочего класса и бизнеса, студенты, которым пообещали по двести рублей за выход, военные без погон, которым пообещали по сто, православные активисты с обиженными лицами, а между ними женщины с детьми. Молодые и старые, мамы, тети и

бабушки с мальчиками и девочками в возрасте лет от четырех до четырнадцати.

— А вы что тут делаете? — спросил я какую-то из старушек.

— Да вот внучонка привела Илюшку, и другие так же, кто сыночка, кто внука, кто племяшку.

— А зачем?

Она охотно объяснила, что скоро будет ехать наш Главный и Любимый и может обратить внимание. А у него есть привычка: если по дороге заметит малыша с симпатичным пузиком, то обязательно остановится и поцелует в пупок. И это как святое благословение, как причисление дитяти к лику ангелочков небесных.

— Ну что ж, — говорю, — ждите, надейтесь.

Вернулся в свою машину, а там — сонное царство. Варвара спит, Паша за рулем кемарит и Иван Иванович сопит в дальнем углу. Зинуля, отвернувшись к окну, тихо плачет. Я спросил, в чем дело, оказалось то, чего я и ожидал.

— Умерла, умерла роженица. — Зинуля плачет и сквозь слезы шепчет: — Ненавижу! Никогда не прощу! Ненавижу Обаму и Хиллари Клинтон!

— За что? — спрашиваю.

Она утерла слезы краем воротника и посмотрела на меня недоуменно.

— Как за что? Женщина умерла. Почти что на ваших глазах. А вас это что, никак не трогает?

— Очень даже, — говорю, — трогает. Но при чем тут Обама и Клинтон?

— А что же, по-вашему, совсем ни при чем? Женщина молодая, двадцать четыре года. Представляете?

— Представляю. А с американцами какая связь?

— В том-то и дело, что никакой.

— Не понимаю.

— Объясняю на пальцах. Женщине двадцать четыре года. Ей бы еще жить и жить. И ребенок, еще не родившийся, тоже погиб, а вы говорите, при чем тут Обама.

На этих ее словах я опять отключился.

Видение

Не знаю, как у других зверей, а у домашних собак точно есть способность чують приближение ожидаемого события задолго до того, как оно состоится в пределах, доступных органам зрения, слуха и обоняния. Скажем, мой Федор лежит на диване, дремлет. Вдруг оттопыривает уши, поднимает голову, соскакивает с дивана, бежит к двери, начинает ее царапать и лаять. Я уже знаю, что скоро появится моя жена. Она еще не здесь, еще где-то в двух или трех кварталах от дома, но она приближается, и пес каким-то образом это чувствует. Эта способность в не столь развитой форме есть и у человека и проявляется в специфических обстоятельствах, у несущих, например, ночные дежурства. Во времена моей солдатской молодости мне приходилось часто стоять на ночных постах. Спать, естественно, было нельзя, но я себе иногда это позволял, на чем-нибудь сидя, а то и стоя. Спал, но вдруг какое-то тревожное чувство заставляло встрепенуться, насторожиться, вглядываться в темноту, где никого не было видно и слышно, и только через минуту-другую появлялся, например, проверяющий. Таким чутьем обладают многие люди ночного труда, которые при возможности могут задремать, но готовы немедленно проснуться, как только возможность окончилась. Вот и сейчас я спал так крепко, что и во сне ничего не видел, кроме американцев, литовских снайперш в белых колготках и донецкого распятого мальчика, но проснулся и чувствую, что-то не то. Что-то такое разбудило и Пашу. До сего момента он спал, положив голову на руль, и, кажется, крепко. Всхрапывал во сне, чмокал губами и звал к себе какую-то Катю. Но вдруг встрепенулся, покрутил головой и молча взялся за ключ зажигания. И, очевидно, одновременно с ним другие водители сделали то же самое. Один за другим заурчали моторы и вспыхнули фары. И только после этого, напрягши зрение, я что-то увидел. Увидел, что там, на Кутузовском проспекте, в самом его начале, то есть в конце, где тонким пунктиром светится полоса МКАДа, появилась россыпь летящих в нашу сторону синих огоньков. Как будто стеклянные бусы кто-то щедро швырнул на дорогу. Огоньки приближались с огромной скоростью и с нарастающим шумом, и в конце концов я увидел необыкновенный, как называется красивым французским словом, кортеж. Впереди, рассыпавшись по всей ширине Кутузовского проспекта, размашистым журавлиным клином летели сорок (несмотря на огромную скорость, я успел сосчитать) мотоциклистов, все с ослепительно

сверкающими синими, красными, еще и зелеными мигалками, отчего все вокруг — дома, машины, лица стоявших у края проезжей части пешеходов — засверкало невообразимыми переливами цветов. За мотоциклистами шли цугом два черных «Кадиллака», за «Кадиллаками» два «Мерседеса», все тоже с мигалками, а за ними он, чудный всадник на трехколесном мотоциклете, в костюме из розовых перьев, в шлеме с очками и с клювом вместо носа, длинным, как у пеликана. Но поскольку перья, и шлем, и клюв отражали вспышки всех этих сине-красно-зеленых мигалок, то весь всадник был похож на сказочную жар-птицу.

— Ой, красота-то какая! — от всей души завопила Зинуля.

А Паша, руки раскинув, ту же самую мысль выразил другими словами с упоминанием матери. Он же сообразил вовремя выхватить свой мобильник и теперь снимал на видео это великое зрелище.

За жар-пеликаном, соблюдая дистанцию, несясь реанимобиль человеческий, за ним ветеринарная «Скорая помощь», затем инкассаторская машина — бронированный микроавтобус, полицейский броневик на восьми колесах, а за броневиком опять мотоциклисты, еще сорок штук. Когда они проносились мимо, Паша нажал на клаксон, и все стоявшие в пробке автомобили одновременно загудели, все скопившиеся у края дороги пешеходы заулюлюкали и стали показывать трехколесному мотоциклисту палец. Но он, видимо, звуковые сигналы понял как приветственные, а в не очень ясном освещении принял средний палец за большой, и на ходу помахал всем нам рукою в белой перчатке. Я ему тоже помахал — отдельно, и мне почему-то показалось, что он этот мой жест заметил.

Наконец-то нам дали зеленый свет, полицейский перед нашей машиной взмахнул своей палкой, и все машины вместе с нашей, как застоявшиеся кони, рванули вперед. Нас тут же обошли и со страшным ревом понеслись к месту своего назначения пожарные машины, но в этом, кажется, не было уже большого смысла, ибо супермаркет неспешно догорал, и ветер раздувал отдельные головешки и взвихривал над местом события тучи пепла. Впрочем, этот пожар уже мало занимал мои мысли, поскольку я был все еще под сильнейшим впечатлением от пронесшегося кортежа.

Конечно, весь этот проезд произвел на меня сильное впечатление. Хотя его пышностью я был все-таки покороблен. Я подумал и поделился мыслями со спутниками; ну зачем он носится по Москве с этими мотоциклистами, «Кадиллаками», «Мерседесами» и броневиками? Сколько ж это все может стоить, сколько всего хорошего можно на эти деньги

построить, детей сколько вылечить?

— Ну как же-с, — отозвался знакомый голос. Я обернулся на голос и увидел Ивана Ивановича, который сидел в темном углу, зажав удочку между коленями. — Как же-с, — повторил он. — Это же первое лицо государства. Мотоциклетный эскорт ему полагается для почета, «Кадиллак» для шика, броневик для охраны, «Мерседес» для obsługi...

— А реанимобиль? — спросил я.

— Это и ежу ясно, — укоризненно усмехнулся Иван Иванович. — Мало ли в дороге что может случиться. ДТП, инфаркт, инсульт, аппендицит, теракт. Надо же сразу что-то делать. Это же не мы с вами. С нами, если что случилось, ну и ладно. А что будет, если с ним то же самое приключится?

Я задумался: что же будет и будет ли что-нибудь? А на свое недоумение по поводу наличия среди машин сопровождения ветеринарной службы получил не вполне внятное разъяснение, что Первое лицо, работая с дикими животными, достигло такого совершенства в искусстве перевоплощения, что само отчасти является диким животным. И что порой для оказания ему полноценной медицинской помощи требуется консультация ветеринара.

— Ну хорошо, — сказал я, — ладно, это я понял. А инкассаторская машина зачем?

И на этот вопрос получил понятное объяснение. У первого лица государства личных расходов практически нет. Жилье, еда, одежда, транспорт — все, как говорят американцы, free of charge. Все бесплатно, а зарплату куда девать? Вот он ее откладывал, а теперь накопленное дома хранить опасается. Тем более что у него всяких домов там и сям столько, что забудешь, в котором хранишь.

— Но зачем же дома хранить? — возразил я. — Есть же Сбербанк, ВТБ.

— Наши банки? — переспросил Иван Иванович и громко рассмеялся: — Ха-ха-ха-ха.

Я сказал:

— Если наши банки для вас ха-ха-ха-ха, то есть, к примеру же, например, офшоры.

Тут Иван Иванович не сдержался:

— Вы что? Какие там офшоры? А санкции?

— А, санкции, да. Про санкции я как-то и не подумал.

— Эгоист, потому и не подумал, — попенял мне Иван Иванович. — Вас санкции не касаются, а на тех, кого касаются, вам, как я вижу,

наплевать.

— Ну почему же наплевать, — возразил я. — Я очень за них переживаю, но для таких людей, как наш Перлигос, открыты любые самые надежные банки. Американский, немецкий, швейцарский.

— Эх! — вздохнул Иван Иванович. Тяжело вздохнул, непритворно. — Все-таки правда, наивный вы человек. Это не банки, а морозильники. Вклады наших олигархов замораживают. А уж если попадутся деньги нашего Перлигоса, их они из своих хранилищ и вовсе не выпустят. Воспользуются случаем. Будут шантажировать, потребуют вернуть Крым, или подать в отставку, или еще чего. Так что, молодой человек (это меня он так назвал), не все так просто, как кажется.

Человек прозрачный, как стекло

Мы еще почти ничего не сказали о Вторлигосе. Об этом замечательном человеке говорят, что он, во-первых, не отбрасывает тени, поскольку сам ею является, а во-вторых, не имеет никакого лица. Злые языки утверждают, что он не имеет даже и тела, то есть пустое место. Что-то вроде невидимки. Что сквозь него можно просматривать другие предметы, как сквозь незамутненное стекло. Но это, конечно, ерунда. Я лично его встречал и пытался сквозь него что-нибудь рассмотреть, но у меня ничего не получилось. Собственно, про него много лишнего говорят, у нас вообще, знаете, когда человек поднимается на вершину власти, так в нем сначала находят одни самые высокие достоинства, а потом самые низкие пороки и червоточины. Обязательно наговорят чего-нибудь такое, за что во времена моей молодости давали внушительный тюремный срок. Тогда высказывания людей о подобных лицах были более, я бы сказал, взвешенными. А теперь... Люди ведь — это такие существа, что как только им разрешишь говорить, что хочешь, так они что хочешь и говорят. От чего в наших конкретных условиях я бы советовал воздерживаться и не забывать, что у нас есть компетентные органы из трех букв. И хотя буквы эти время от времени как-то переставляются, но суть того, что они обозначают, в общем-то не меняется. Они раньше чересчур говорливыми людьми интересовались, и теперь не думаю, чтобы все пропускали мимо ушей. Но пока народ распустился, болтает, что взбретет на ум, а некоторые (процентов десять) в болтовне этой даже первых лиц государства не жалуют и, повторяя досужие сплетни, загибают пальцы, где кто чего украл, какие дворцы построил и кого в этих дворцах водит в опочивальню. И если Перлигоса еще кто-то как-то боится, то Вторлигоса, можно сказать, вообще за человека не держат и все, кому не лень, насмеваются над ним бесстыже прямо в глаза. Хотя, будучи Вторым, временно исполнявшим обязанности Первого, и относясь к порученному делу ревностно, он оставил после себя глубокий след, который до сих пор некоторые реакционеры тщетно пытаются из нашей памяти вычеркнуть. Главное, он сразу и откровенно сказал жителям нашей страны, что быть здоровым, богатым и сытым лучше, чем бедным, больным и голодным. Это было что-то новое. Революционное. До того мы и сами так думали, но вслух не решались высказать, разве только шепотом, на кухне и сугубо между своими. А тут во весь голос по всем каналам ТВ, и мы поняли, что наконец-то

свершилось то, о чем мечтали многие поколения: к власти пришел наш человек, прогрессивно мыслящий, деятельный, реформатор и демократ. Его демократизм проявился в том, что, проводя реформы, он учел мнение не только сограждан, но и братьев наших меньших, и еще более меньших (в смысле меньших, чем меньшие) сестер, то есть наших коров, которые не желали признавать переходы времени с летнего на зимнее и наоборот, в знак протеста мычали и сильно понижали удои. Он отменил зимнее время, сократил количество часовых поясов, и молока у нас стало хоть залейся. Четыре года жили мы по коровьему времени, пока бывший Перлигос опять не стал настоящим и не повернул время обратно к зиме. После чего снова сильно похолодало. Таким образом от всех нововведений нашего реформатора практически больше ничего не осталось, кроме мысли, его пережившей, что все-таки, как ни крути, а быть здоровым, богатым и сытым лучше, чем бедным, больным и голодным. Четырех лет ему не хватило на большее. И прав был некто Корней Чуковский, когда-то заметивший, что Россия — это такая страна, где надо жить долго. В других странах это необязательно. В другой стране пожил немного, построил дом, родил сына, посадил дерево, принял участие в выборах, ну и хватит, уступи место другим. Потому что там, сколько ни живи, ничего интересного не дождешься. Даже во власти. То левые правят, то правые левят, а в чем разница? А ни в чем. То ли дело у нас.

Один как взберется на вершину, так ни за что оттуда не слезет. В этом смысле Вторлигос, побывав Перлигосом, предъявил себя народу как исключение. Четыре года побыл, поправил, в одну маленькую войну поиграл. Хотел еще кое-какие идеи осуществить относительно времени. Например, количество месяцев уменьшить с двенадцати до четырех и называть их понятно по-русски: весенник, летник, осенник и зимник, причем началом весны считать день, который раньше назывался первым января, а по новому стилю стал бы первым весенника. В этот же день согласно плану Вторлигоса следовало отмечать Рождество Христово, Новый год, День защитника Отечества, а потом даже и Светлую Пасху подтянуть к тому же числу.

Но все свои идеи провести в жизнь он не успел, возможно, как раз ввиду обратного течения времени. Потому что истинный Перлигос, ставший на время Вторлигосом, давший ему покататься на своем трехколесном мотоциклете, вскоре забрал свое средство катания обратно и стал опять не только истинным, но и формальным Перлигосом. Ну вот, порассуждавши о том о сем, я в описании проезда Вторлигоса решил обойтись без подробностей, потому что это было примерно то же, что мы

уже видели, но в более разжиженном варианте. Мотоциклистов спереди было не сорок, а только двенадцать и сзади четыре. Ехало Второе лицо не на мотоцикле, а в открытой машине. Перья у него были пореже, а клюв не больше куриного. Реанимобиля и ветеринарной помощи я в его сопровождении вообще не заметил, а инкассаторская машина была на четыре размера скромнее — бронированный «Форд Фокус», в багажнике которого, по-моему, больше двух чемоданов валюты никак не поместится.

Доктор Клещ

Не дождавшись проезда Вторлигоса, я заснул, но тут же был разбужен неутомимой Зинулей, которая тронула меня за плечо и сказала:

— Выходим.

Выходим так выходим. Я понимал, что до «Склифа» мы еще не доехали, а если так, то куда выходим, зачем выходим и где Варвара?

— Вышла на предыдущей остановке, — сказала Зинуля.

Я подумал, что за бред, какие остановки у «Скорой помощи», но ничего не сказал, потому что всякой чуши уже наслушался, и покорно пошел за Зинулей к выходу. Почему-то расстояние от открытой дверцы до земли оказалось слишком большим, и мне пришлось спускаться вниз задом наперед по какой-то шаткой стремянке. Зинуля стояла уже внизу. Когда я достиг нижней перекладины, она взяла меня под мышки и плавно опустила на землю. И сделала это так легко, как будто я был не грузный дядька, а легкого веса ребенок. Потом был белый длинный коридор со многими поворотами. Это была, очевидно, больница, но почему-то по бокам на расстоянии нескольких шагов друг от друга стояли часовые в белых полушубках и валенках времен Второй мировой войны. Мы подошли к одной из белых дверей, на которой было написано: «ПРИЕМ ОТ 26-ти до 313-ти». Чему я не удивился, но подумал без паники, что пребываю в ином измерении. Я толкнул дверь и оказался перед турникетом, у которого стоял полицейский в валенках с галошами, в полушубке с одной генеральской звездой на погонах и с автоматом Калашникова на груди. Он меня спросил:

— Вы к кому?

Я сказал:

— Не знаю.

— Ладно. А кто вы?

Я сказал.

— Документ какой-нибудь есть? Предъявите.

Паспорт, по счастливой случайности, оказался при мне. Я его предъявил. Глядя в паспорт, генерал попросил меня вслух назвать фамилию, имя, отчество. Я сказал:

— Там написано.

— Мне не важно, что там написано. Назовите.

Я назвал.

— А чем докажете, что вы это вы?

— Так вот же мой паспорт.

— А чем вы докажете, что это ваш паспорт?

— Там же написаны мои фамилия, имя и отчество.

— Не надо мне этого говорить. Я сам читать умею.

— Я не сомневаюсь. А раз умеете, то прочтите. Там все мои данные.

Имя, отчество, фамилия, дата рождения, кем выдан, где прописан, срок действия: бессрочный.

— Я это вижу. Но чем вы докажете, что это именно ваши данные?

— Тем, что они записаны в моем паспорте.

— А чем вы докажете, что это ваш паспорт?

— Тем, что в нем написаны мои данные.

Он вздохнул.

— Но я же вас спрашиваю, а чем вы докажете, что это именно ваши данные?

— Тем же, что они записаны в моем паспорте.

Тут он совершенно вышел из себя, побагровел, замахал руками, затопал ногами.

— Вы что, — закричал он, — издеваетесь надо мной? Я его спрашиваю: «Чем докажете, что ваши данные?» Он: «Тем, что они записаны в моем паспорте» Я: «Чем докажете, что ваш паспорт — ваш?» — «Тем, что в нем записаны мои данные». Вы что, дурака со мной валяете? Вы себе представляете, с кем вы разговариваете?

— Ой, господи, — говорю, — извините, господин, я, штатский человек, в ваших чинах не разбираюсь, не знаю, как к вам обращаться, но я же вам даю паспорт.

— Опять то же самое. Но чем вы докажете, что это паспорт?

— Да тем, что на нем написано: паспорт.

— Вы анекдот знаете про сарай, на котором написано одно, а в нем хранится другое. Так и здесь. Здесь, может быть, написано паспорт, а на самом деле это, может быть, и не паспорт. А если даже и паспорт, то чем вы, в таком случае, докажете, что это именно ваш паспорт?

— Тем именно, что в нем написано, что это именно мой паспорт.

Он так зарычал, что теперь я замахал руками.

— Но не только написано. Тут еще и моя фотография. Вот видите, такая круглая физиономия, в размер три на четыре полностью не влезает.

— Ну и что? Вы хотите сказать, что это ваша фотография?

— Ну да. Разве вы не видите, что это я?

— Вижу, — сказал он, — но чем вы это докажете?

Я совсем вышел из себя, стукнул кулаком по столу, да так, что стекло,

покрывавшее крышку, треснуло.

— Черт бы вас побрал! — пожелал я этому чинуше в погонах. — Чего вы от меня хотите, каких еще доказательств вам надо? Вот паспорт, вот мои фамилия, имя, отчество, вот фотография, вот штамп прописки. Вот у меня еще есть пальцы, с которых можно взять отпечатки. Может, надо еще доказать, что это мои пальцы?

— Не говорите глупостей, — сказал он. — И не надо задавать бессмысленные вопросы. Имейте в виду, здесь мы спрашиваем, а вы должны отвечать.

Тихо приотворилась дверь, и в нее втиснулся еще один генерал с двумя звездами на погонах.

— Что за шум?

Однозвездный вскочил на ноги и доложил, что ведет допрос подозреваемого (то есть меня, подозреваемого неизвестно в чем) и подозреваемый (то есть я) злостно препятствует выяснению его (то есть моей) личности.

— Но при этом не обязательно кричать, — по-доброму заметил ему двухзвездный. — Давайте разберемся спокойно. В чем проблема?

— Проблема в том, что гражданин противится выяснению его личности и уклоняется от представления доказательств.

Двухзвездный перевел взгляд на меня.

— Это правда?

— Нет.

— То есть генерал врет?

Я смутился. Сказать, что врет, как-то нехорошо. Я в чинах не очень-то разбираюсь, но знаю, что генералы — люди обидчивые.

— Нет, я не говорю, что врет. Но он говорит, что я уклоняюсь, а я не уклоняюсь.

— Но если он говорит, что вы уклоняетесь, а вы говорите, что вы не уклоняетесь, значит, вы утверждаете, что он врет. Или он, говоря, что вы уклоняетесь, врет, что вы врете. Иначе говоря, вы утверждаете, что он врет, утверждая, что врете вы?

— Не, знаю, — говорю, — извините, — говорю, — ваше, — говорю, — превосходительство, но вы меня, — говорю, — совершенно запутали. Я ничего плохого не говорю ни про ваше превосходительство, ни про ихнее превосходительство, я только говорю, что я это я, но ихнее превосходительство мне не верят, а ваше превосходительство, кажется, тоже верить не хотят.

— Ну почему же, — улыбнулся двухзвездный, — я вам охотно поверю,

если вы докажете, что вы — это вы. Но чем вы это можете доказать?

Он говорил очень доброжелательно. Мне показалось, что он правда хочет добраться до истины, и я предложил ему посмотреть мой паспорт. Он взял паспорт, повертел в руках, полистал страницы, много раз перевел взгляд с меня на фотографию и с фотографии на меня и спросил:

— Это ваш паспорт?

— Мой.

— А чем докажете?

— Тем, что здесь написаны мои имя, отчество, фамилия, год рождения, данные о прописке и штамп о регистрации брака.

— А из чего видно, что все эти данные относятся именно к вам?

И опять началась та же сказка про белого бычка: докажите, что это вы, докажите, что этот ваш паспорт, что в паспорте ваша фамилия. И то же самое повторилось с появлением трехзвездного генерала и четырехзвездного, а уж когда маршал с большой звездой стал повторять те же бредовые вопросы, я не выдержал, вскочил на ноги, обхватил голову руками и зарыдал в голос.

— Я ничего не понимаю. Чего вы от меня добиваетесь? Что вам непонятно? Эта книжка называется паспорт. На ней написано «паспорт», и она есть паспорт. Это паспорт мой, потому что в нем написаны мои фамилия, имя и отчество. Точнее, мои фамилия, имя и отчество в нем написаны, потому что он мой. И фотография в нем моя. Это фотографический снимок моего лица, сделанный в официальном фотоателье на Ленинском проспекте, за что я заплатил девяносто рублей. Здесь видите, все мое: глаза, уши, родинка на левой щеке.

Кажется, я впал в истерику и стал биться головой об стену. И кто-то закричал, что опять псих попался, опасный для общества. Какие-то люди в белых халатах схватили меня и скрутили. В руках одного из них появился шприц величиной с велосипедный насос. Игла в нем была длинная и кривая, похожая на сапожное шило. Если бы я спал, то от этого укола должен был бы проснуться. Но, очевидно, я не спал. А если спал, то так крепко, что не проснулся, а перешел в другой сон, в котором я лежал на узкой койке с привязанными к ней руками и ногами, а рядом на стуле сидел симпатичный доктор, в ком я узнал знакомого мне Ивана Ивановича.

Клещ

— Успокойтесь, — ласково проговорил он и, взяв мою руку в свою, стал щупать пульс. — Постарайтесь забыть все, что вас волновало. Здесь вы в полной безопасности. Здесь все свои. Здесь вам будет хорошо и комфортно. Можете ли вы вспомнить, что привело вас сюда?

Я, подумав, на всякий случай решил начать все сначала и сказал, что привел меня сюда клещ.

— Клещ? — Он достал из кармана айфон последней модели, потыкал в нужные кнопки и снова поднял на меня глаза. — Имя-отчество?

— Мое? — спросил я.

— Нет, не ваше, а этого, который привел вас. Клеща.

Я подумал и спросил:

— Скажите мне, пожалуйста, кто из нас сумасшедший?

Он не удивился, не рассердился, Пожал плечами.

— Это зависит от точки зрения.

— То есть?

— То есть я здесь числюсь доктором, и, с моей точки зрения, сумасшедшими являются те, кого я лечу, и мне кажется, что я прав. Но они, в свою очередь, сумасшедшим считают меня, и им кажется, что правы они. Однако вы мне не ответили на вопрос об имени-отчестве приведшего вас господина, если не ошибаюсь, Клеща.

Не знаю, что бы я сделал, если бы не был крепко привязан. А так я мог лишь возмутиться, наговорить всякого, но вспомнил про шприц и потому попытался помочь доктору реалистически представить, что случилось. Очень, как мне показалось, спокойно я ему объяснил, что у моего клеща никакого имени-отчества нет, потому что он не человек, а лесное членистоногое насекомое, которое залезло мне в кожу на животе и не хочет из меня вылезать.

— Ах, вот оно что, — протянул доктор. — В таком случае вам надо не ко мне, а к энтомологу, которого ваш клещ, возможно, заинтересует. А ко мне, если у вас возникнет потребность, пожалуйста, когда угодно.

Он позвал санитаров, велел меня развязать. Меня развязали, и я пошел к выходу, но оказался не на улице, как ожидал, а в другом кабинете, где на стене висел портрет первого лица государства, а за столом сидело второе лицо, то есть не второе лицо государства, а второе в этой комнате после первого, что висело.

Носитель этого второго лица, необычайно румяного, как говорится, кровь с молоком, выкатился из-за стола и оказался маленьким пузатеньким человечком в темном костюме с галстуком в крапинку, голова небольшая, посаженная между плеч без всякого признака шеи, а глазки и вовсе крошечные, словно спичечные головки, которые кто-то изнутри постоянно вертит. Человечек протянул мне для пожатия руку. Она была мягкая, словно набитая ватой.

— Здравствуйте, здравствуйте, — заговорил он радушно, не выпуская моей руки из своей, и глазки его вовсе утонули где-то в глубине жестких лицевых складок. — Очень рад вас видеть.

— И я, — ответил я, как мне показалось, совершенно искренне, — очень, очень рад вас видеть.

— А я, — возразил он, — еще более очень-очень рад вас очень видеть.

— А я, — полез я дальше, — еще более, чем более очень-очень рад видеть вас.

— Приятно слышать, — потряс он мою руку, не выпуская ее из своей, и, сделав паузу, назвал себя именем, которое меня уже не удивило: Иван Иванович.

Удивило меня другое. Зачем, пришла мне в голову мысль, люди мучаются придумывая имя своему ребенку? Зачем, когда можно просто называть всех мужчин Иванами Ивановичами, а женщин, допустим, Марьями Ивановнами? Зачем люди хотят отличаться чем-нибудь друг от друга, хотя существенных различий между ними нет?

Естественно, хозяин кабинета спросил меня о причине моего появления у него, и я опять объяснил все сначала:

— Был в лесу, оделся нормально: сапоги, куртка, кепка, закрывался, как мог, а клещ все же пролез. Их сейчас столько развелось, что просто ужас. И лезут во все дырки, всасываются, внедряются в любую часть тела. Вы себе представляете?

— Очень даже представляю. Каждый вечер, когда смотрю телевизор.

— Когда смотрите телевизор?

— Ну да. Вы же под клещами, как я понимаю, не насекомых в виду имеете, а паразитов человеческого рода. наших членов правительства, депутатов, чиновников, олигархов, вот уж действительно впились в тело страны, сосут кровь из народа, никак не насытятся. Наши люди всегда воровали, но не в таких же масштабах! Раньше присваивали сотни, ну тысячи, ну десятки тысяч, но сейчас крадут и вывозят за границу миллиарды.

Я, естественно, поддакнул.

— Да-да, — киваю, — действительно, впились, всосались и вывозят, но я, собственно, не о них.

— А о ком же?

— Видите ли, я с вами совершенно согласен, эти люди, которых вы называли клещами, они и впрямь совсем, что называется, оборзели, они, я считаю, позор нашей страны и представляют собой угрозу ее национальной безопасности. Но меня сейчас беспокоят не столько они и не американское вмешательство в дела суверенных государств, не наплыв беженцев в страны Евросоюза, не санкции, не продвижение на восток блока НАТО, и даже не растущие цены на ЖКХ...

— А что же может вас беспокоить? — спросил доктор, изумленный моим откровением.

— А больше всего, — не переводя духа, говорю я ему, — меня в настоящий текущий момент беспокоит, как я сказал вам, клещ. Но не фигуральный, не депутат какой-нибудь, не министр, не премьер-министр, эти, само собой, давно у меня в печенках сидят, а обыкновенный лесной клещ, маленький такой, членистоногий. Он, паразит, забрался не в тело страны и не в душу народа, а вот сюда мне лично под кожу, и никто не может его удалить. Мне сказали, вы можете этого паразита извлечь.

— Ах, так вы о лесном клеще? — дошло до него наконец. — О простом таком насекомом. Его извлечь, конечно же, можно. А за что? Что он вам сделал плохого?

— А по-вашему, хорошо, что он влез в меня весь целиком и грызет меня изнутри. Хорошо это?

— Вам — не очень, — признал мой собеседник раздумчиво. — Но ему, вероятно, нравится. Тепло, уютно. Вы для него сейчас и пища, и дом. А вы за то, что он съест немного вашего лишнего жира, вы, такой большой, хотите его, маленького, уничтожить. И еще хотите, чтобы я возмутился тем, что он вас ест? Но мы все кого-то едим. Вы едите, допустим, свинью или курицу, он кушает вас.

— Какое может быть сравнение, — не согласился я, — я человек, а он всего-навсего насекомое.

— Это вы в том смысле, что раз вы человек, то имеете право есть кого-то, а он не имеет. А где это, в каком же законе это написано? В Конституции или, может быть, в какой-нибудь декларации о правах насекомых? И что это за представление, что вы человек, а он для вас всего-навсего насекомое? А вам не приходит в голову, что если для вас он всего-навсего насекомое, то вы для него всего-навсего запас пищи. Это вы начитались всего, наслушались всяких возвышенных глупостей и

воображаете, что человек — это звучит гордо. Человек создан для счастья, как птица для полета. Что это значит? Это же глупость какая-то.

Надеясь, что доктор в конце концов как-то поможет мне, я деликатно напомнил, что слова, процитированные им, произнес когда-то знаменитый писатель.

— Ну и что, что знаменитый, ну и что, что писатель? Да эти знаменитые писатели иной раз такое несут, что, как говорится, хоть стой, хоть падай. Ну что это значит: человек создан для счастья, как птица для полета? Так же можно сказать: человек создан для счастья, как рыба для плавания. Или как курица для несения яиц. Или... — Он радостно подмигнул мне и еще раз переиначил высказывание Владимира Короленко каким-то таким тоном... — не знаю, как точнее сказать... Человек создан для счастья, как клещ для залезания под кожу.

Ему самому его шутка показалась такой смешной, что он затрясся от смеха, и смех его был похож то на лягушачье кваканье, то на собачье повизгивание, при этом он призывно смотрел мне в глаза, как бы приглашая разделить с ним его веселье. Мне было совсем не весело, однако из вежливости... куда мне было деваться... я же от него зависел... я ему подхихикнул, но у меня получилось как-то неискренне, фальшиво, и, когда он наконец успокоился, я все же решил напомнить ему о цели своего визита, а перед тем, естественно, польстил ему весьма неуклюже.

— У вас, доктор, — сказал я, — такое замечательное чувство юмора. Но, извините, что я все о своем. Этот клещ, какой бы он ни был хороший, не я же в него влез, а он в меня, и мешает мне жить.

— Опять за рыбу гроши, — тяжело вздохнул доктор. — Ну да, он мешает вам жить. Мешает, мешает, — повторил он нараспев. И вдруг оживился: — Но вы знаете что. Мы ведь все кому-то чем-то мешаем. Он вам мешает, а вы — ему мешаете. Он, может быть, наконец достиг того, о чем всю жизнь свою клещиную мечтал. Он жил в лесу, ветреном, мокром, холодном, и питался неизвестно чем. Теперь ему выпало коротко счастье пожить там, где тепло, уютно, сытно, а вы хотите его оттуда вытащить. Потому, что он вам мешает. Но если взять ваше человеческое как бы общество, так ведь вы тоже друг другу мешаете. Вот вы, предположим. У вас в издательстве книжки выходят, а у другого писателя — не выходят. Хотя он, может быть, и не хуже вас.

— Ну да, — усомнился я, — не хуже. Кто это не хуже?

— Ну, допустим, немножко хуже. Но немножко хуже, на какой-то, может быть, скажем, микрон. Но вас печатают, а его нет. И не потому, что он хуже, а потому, что вы уже, как говорится, площадку заняли. Издатель

не может печатать всех, и он выбирает некоторых. Вот вас выбрал, а тому, который немного хуже, места не осталось. Хотя он хуже чуть-чуть, на самую малость, и если б не вы, то издатель, возможно, заметил бы и его. И он, хотя он немного похуже вас, стал бы в глазах издателя немного получше тех, кто немного хуже его. Мы все кому-то мешаем. Я мешаю тем в нашем ведомстве, кто немного ниже меня, а мне, между нами говоря, главный наш — ух как мешает, вы и представить себе не можете. Уже давно достиг пенсионного возраста, а не уходит. Два инсульта было, а не умирает. Когда говорит — то будто каша во рту, при ходьбе ногу волочит, а в кресло свое вцепился, извините, как клещ, и никак его не оторвешь. Так вот мне-то что делать? Тоже кислород ему перекрыть, как вы этому несчастному насекомому своему хотите? Утопить его в постном масле? Тоже выковыривать каким-то образом? Другой бы на моем месте... Но я, как видите, этого не делаю. Он мне мешает, а я ничего, терплю.

Мне было неудобно с ним спорить, но и не возразить я не мог.

— Ну, вы, доктор, — сказал я, — извините, сравнили! Ваш главный — он, какой-никакой, может быть, не лучше вас, а возможно, и хуже, тем более что ногу волочит и каша во рту, но он все-таки человек, а во мне сидит насекомое. Мелкое, ничтожное, гнусное. Отвратительная...

Пока я произносил эти эпитеты, его лицо, к моему удивлению, наливалось кровью, а глаза как будто выкатились из орбит и выражали такую злобу, что мне стало не по себе, и я решил закончить свою тираду. У меня в запасе было еще несколько относящихся к клещу негативных эпитетов, но, глядя на лицо собеседника, я испугался, что дошел до некоего предела, и почел за благо завершить предложение словами:

— ...отвратительная козявка.

Я договорил фразу быстро, ибо счел необходимым довести ее до точки и поспешил, чтобы меня не прервали. Наступило молчание. Мой собеседник смотрел на меня тяжелым взглядом из-под бровей. Брови его были густые, кустистые, они шевелились, и, как мне казалось, каждый волосок шевелился отдельно, как лапки клеща. Наше молчание было долгим, тяжелым, зловещим. Мой собеседник, казалось, думает какую-то тяжкую думу. Но вдруг он сделал сразу глубокий выдох без вдоха и словно исторг из себя что-то гнетущее. Словно сбросил тяжелую ношу и вдруг сказал, изобразив некоторое недоумение:

— А как же равенство?

— Я не понял...

— Вы же, я слышал, за равенство выступаете, а где оно в ваших рассуждениях, это равенство, когда вы так горделиво заявляете: я, мол, царь

природы, а он всего-навсего, как вы говорите, козявка...

Я в жизни много слышал всякой чуши, но такой...

— О чем вы говорите, — начал я, пытаюсь склонить его к логическому мышлению. — Я, разумеется, за равенство, справедливость и нос ни перед кем не задираю. Но я говорю о равенстве в человеческом обществе. А какое может быть равенство между мелким насекомым и высшим существом, единственным созданным Богом по своему образу и подобию.

— Высшее существо, — насмешливо повторил собеседник. — Созданное по образу и подобию. Да кто вам это сказал? Какая самоуверенность! Если вы думаете, что Бог создал вас по своему образу и подобию, значит, и он в свою очередь подобен вам?

— Да, именно так.

— Невероятный самоуверенный вздор. Вот вы знаете, что один чешский писатель рассуждал так. Если Бог похож на человека и имеет то же анатомическое строение, и в частности имеет рот и зубы, что он ими делает? Пережевывает и поглощает пищу. Тогда следует предположить, что у него есть и желудок, который переваривает пищу. А результат переваренной пищи — это что? И через что это выходит?

— Не смейте! — закричал я. — То, что вы говорите, кощунство.

— Вот-вот, именно этого слова я от вас ожидал. Но имейте в виду: всякая стоящая мысль, додуманная до конца, приведет к выводу, который вы назовете кощунством. А если я свои рассуждения о вашем Боге продолжу и предположу за вас, а не за себя, что если он создан по образу и подобию, то, значит, должен быть наделен всеми вашими слабостями и пороками, всеми подлыми свойствами вашей натуры.

— Моей натуры?

— Не вашей лично, а вашей, как это вы называете, человеческой.

— Я понял. Но почему вы говорите «вашей», а не «нашей»? Вы сами себя к человеческой породе не причисляете?

По-видимому, мой вопрос его как-то смутил, но и насмешил. Он захихикал, странно, скрипуче и неприятно, при этом издавая отвратительный клопиный запах. Кстати сказать, у нас почему-то считается, что коньяк пахнет клопами. Это ни на чем не основанная глупость. Коньяк пахнет коньяком, а клопами пахнут только клопы. От доктора же исходил именно клопиный запах, а не коньячный, что мне показалось странным. Коньячный запах мне не показался бы странным, зная обычай наших пациентов расплачиваться с врачами за оказанные ими медицинские услуги именно этим алкогольным напитком.

— В каком-то смысле, — сказал он, подумав, — в каком-то смысле я

себя ко всему живому причисляю, вот от имени всего живого и спрашиваю. Откуда у вас такое самомнение, что Бог обязательно должен быть похож на вас?

— А на кого же еще ему быть похожим? Не на клеща же, господи, прости.

— А почему бы и нет?

До этого я говорил с ним вежливо и осторожно, боясь рассердить его или обидеть. Потому что как-то зависел все-таки от него. Но когда дошло до таких богохульных, прямо скажу, предположений, тут уж я никак смолчать не мог.

— Стоп, стоп! — сказал я. — Вы, уж извините, господин доктор, но я бы от таких высказываний воздержался. Имейте в виду, что нашим обществом такой ход мыслей воспринимается очень болезненно. Разве можно Всевышнего сравнивать с каким-то ничтожным насекомым?

— С ничтожным насекомым, — повторил доктор со вздохом. — Но, с вашей человеческой точки зрения, это насекомое может быть ничтожно, а для Всевышнего, может быть, вы такое же ничтожное насекомое, и не больше того.

Вы скажете, и это кощунство. Но любая свободная мысль, как я уже сказал, приводит к тому, что вы называете кощунством. И я для вас, вероятно... как это вы называете? Кощунец?

— Кощунник, — поправил я.

— Кощунник только потому, что думаю собственной головой и смею кое-что подвергать сомнению. Имею право сомневаться в чем угодно, даже в том, что не подлежит никакому сомнению. В том, что земля круглая, вода жидкая, сахар сладкий, а человек произошел от обезьяны. Имею право сомневаться, имею право верить, имею право не верить. Я не исключаю того, что есть Некто, кто каким-то образом управляет всем вселенским бардаком, но могу предположить, не утверждать, заметьте, а только предположить, что для управляющего Вселенной мы, существа, живущие на нашей планете, люди, клещи, да хоть и блохи — не более чем ничтожные насекомые. Да даже и вся планета... Стоит посмотреть на нее со среднекосмического удаления, вы эту пылинку ни в какой микроскоп не разглядите. А что касается самого Управляющего, так это только ваш недоразвитый ум, ваше вздорное самомнение и убогая ваша фантазия могут привести к мысли, что Он, создатель и властелин всего мироздания, похож на вас. Он может быть похож на облако, на Млечный Путь, на гром и молнию, на запах цветущей сирени, на что-то невообразимое, а скорее всего, ни на что. Если бы я думал, что он действительно есть, я

предположил бы, что он, скорее всего, невидим, неслышим, неосязаем и необоняем. Вы не желаете признать возможное свое происхождение от обезьяны, но для Бога, если вы в него, правда, верите, согласитесь, ничего невозможного нет. А вдруг как он произвел вас не от обезьяны даже, а от чего-то, по вашему мнению, более низкого, от того же клеща, в которого заложил механизм эволюции. А откуда вы знаете, что вы не просто самовоспроизводящиеся роботы, созданные более развитыми существами из биологических клеток? Вот вас собрали, как фигурки из конструктора, и вы забегали, стали что-то там изобретать, сочинять, и думаете, что это вы сами бегаєте, изобретаете, сочиняете. А на самом деле это Некто играет в вас, как в оловянных солдатиков. Расставляет по ранжиру, наделяет каждого какими-то свойствами: этот пусть изобретает, этот сочиняет, а эти пусть так и будут солдатиками и пусть стреляют друг в друга. И все эти войны для Него всего лишь, как для наших детей компьютерные стрелялки, ролевые игры. Вы возмущаетесь тем, что в обществе, где вы живете, нет равенства. Но вы ведь заботитесь только о равенстве среди людей, вы по вашей, ни на чем не основанной самоуверенности не можете себе даже представить, что Создатель, вполне возможно, сотворил всех живых существ равными и для него нет разницы между человеком и инфузорией. Вы считаете клещей паразитами и вредителями потому, что они живут за ваш счет и могут нанести вред вашему здоровью, но подумайте, и вы согласитесь со мной, что настоящим паразитом и самым страшным врагом природы является человек, который пожирает все живое, истощает земные недра, леса и ведет себя, как самый ненасытный хищник. Он истребляет диких животных, убивает домашних и охотно тратит весь свой умственный потенциал на убийство себе подобных. Благодаря деятельности человека реки мелеют, леса выгорают, в небе появились озоновые дыры. Когда-нибудь природа взбунтуется, найдет на вас клещей, комаров, муравьев. Цунами вас затопят, землетрясения похоронят под обломками зданий, а новый ледниковый период сотрет на земле всякую память о вас. Когда природа освободится от вас, тогда и начнется ее медленное восстановление. Вот вам пропуск на выход, и вот вам моя визитная карточка. Идите, подумайте, о чем я вам тут сказал, и если что — обращайтесь.

— Извините, а как же насчет клеща? — сказал я или хотел сказать, но его уже не было. Он растворился в пространстве, а я проснулся.

Или опять заснул. Нет, скорее проснулся, потому что в руках у меня была визитная карточка. Я попросил Пашу включить внутренний свет и, к своему полному изумлению, прочел: КЛЕЩ Иван Иванович, доктор

медицинских наук, полковник. Перевернув карточку, я еще больше изумился. На обратной стороне английскими буквами было написано: John Johnson & Johnson Junior Special Agent of the State Department, colonel.

Изделие № 2 и призывы к действию

Чтобы никого случайно не разбудить, я снял ботинки, тихо вышел наружу и увидел себя входящим в какую-то комнату, где было очень, очень темно. Войдя туда, я покрутил наугад руками, не выпуская из них ботинок, в надежде наткнуться на стену или какой-то иной предмет, чтобы как-то сориентироваться в пространстве, и вдруг кто-то перехватил мою руку и со словами «идите за мной» повел меня куда-то и довел до какого-то стула, на который я, ощутив его, опустился. И как только я сел, в зале включился свет. Он шел неизвестно откуда, потому что никаких ламп я не заметил. У меня было ощущение, что свет излучают стены. При свете я увидел, что нахожусь в просторном зале, вдоль стен которого большим параллелепипедом выставлены столы, а за столами сидят люди, участники какой-то, как мне подумалось, конференции. Перед каждым участником, как полагается, бутылка минеральной воды, стакан, блокнот, шариковая ручка и микрофон, одеты же все не совсем обычно. Все в оранжевых безрукавках вроде тех, светоотражающих, какие надевают дорожные рабочие, и у всех на левой стороне груди висят какие-то бантики. Я сначала, естественно, подумал, что это белые ленточки, с которыми наши оппозиционеры еще недавно безнаказанно разгуливали по столице и которые один известный всем человек, выглядывая из окна своего кремлевского кабинета и будучи при этом близоруким, принял за презервативы. Я помню, тогда над ним некоторые наши журналисты открыто потешались, и я тоже, честно скажу, где-то по этому поводу несколько неуместных шуточек отпустил. А теперь посмотрел я на эти бантики, и мне тоже показалось, что это презервативы. Вгляделся еще внимательней — и убедился, что мне не кажется, это действительно презервативы. Иностранного производства, потому что, насколько я знаю, наша промышленность, к великому моему сожалению, с некоторых пор этот товар широкого потребления не производит. Когда-то у нас в подмосковном поселке Баковка презервативы изготовлял завод резиновых изделий, построенный по инициативе лично врага народа товарища Берии. Целомудренные люди того времени слово «презерватив» произносить стеснялись и называли его «изделие номер два». Бывало, какой-нибудь взрослый солидный мужчина в шляпе, отстояв очередь в аптеке (а презервативы только в аптеках и продавались), совал в окошко денежку и говорил: «Мне, пожалуйста, аспирин и... — понизив голос до шепота и

покраснев... — и изделие номер два». Аптекарьша, тоже немного смущаясь, доставала пачечку с этим изделием — торопливо, чтобы из очереди никто не заметил, и совала ее покупателю. Да, это изделие номер два. Вопрос: почему номер два? Потому что под номером один завод выпускал противогазы. Не знаю, на что Лаврентий Павлович рассчитывал, выпуская противогазы, но с помощью презервативов, очевидно, стремился достичь важной вражеской цели — сдержать естественный прирост нашего населения. Однако изделие-то было советское, качества соответственного, поэтому зловещим планам английского шпиона, кем оказался впоследствии Берия, не суждено было полностью осуществиться. Хотя резина, из которой изготовлялось изделие, была достаточно плотной и более подходящей для противогазов, она, так же, как и противогазная, часто рвалась, лопалась и сползала с того, на что надевалась. Но, к счастью или к сожалению, не всегда. Баковка производила в год до двухсот миллионов изделий второго номера, и если бы все они рвались или сползали, мы бы давно по численности населения обогнали Индию или Китай. Товар этот стоил всего лишь 2 копейки за штуку, поэтому его охотно покупали не только взрослые, но и дети, употребляя не совсем по назначению. Когда мне было четырнадцать лет и я учился в ремесленном училище, мои сверстники и я сам, бывало, каким-то образом достав эти штуки, надували их и тайком привязывали девушкам к хлястикам их форменных шинелей. Вот потеха была!

Но с крушением советской системы развалились целые отрасли нашей промышленности. Последнее время, мне кажется, наша промышленность уже вообще ничего не производит своего, кроме автомобилей марки «ВАЗ» и автоматов Калашникова. Даже собственное свое хозяйство оглядывая, я вижу, что все у меня иностранное. Носки, трусы, штаны, рубашки, кофеварка, мясорубка, холодильник, пылесос, телевизор, компьютер — и это, естественно, как-то задевает мое патриотическое чувство. Вот и сейчас я увидел эти презервативы и огорчился тому, что хороши, но не наши. Ничего не скажу, выглядят красиво, но не на том месте, для которого предназначены. А на этом месте, на левой стороне груди, у нас носят самые высокие ордена. Увидев презервативы, я подумал: может быть, это тоже какой-то новый орден, о котором я еще ничего не знаю. Сначала подумал — не может быть, а потом подумал — почему бы и нет? Ведь есть же у англичан орден Подвязки, причем не какой-нибудь, а самый высокий. Обладая википедическими знаниями моего компьютера, расскажу о происхождении ордена. Как гласит легенда — дело было в четырнадцатом веке. Графиня Солсбери, танцуя однажды с королем Эдуардом Третьим,

уронила подвязку, и те, кто был рядом, засмеялись, но король поднял подвязку, заметив по-французски: «Honi soit qui mal y pense» — «Стыд подумавшему об этом плохо», и надел подвязку на свою ногу. И, решив пикантное это событие должным образом увековечить, учредил орден Подвязки, которым одновременно может быть награждено не более 25 человек. Знак ордена, бархатная лента с той же надписью, «Honi soit qui mal y pense», носится под левым коленом. Вот я и подумал, глядя на людей, сидевших в зале, что если уж есть орден Подвязки, то почему бы не учредить орден Презерватива? С той же примерно надписью: «Стыд подумавшему об этом плохо».

Заканчивая тему, замечу, что легкая доступность нашему потребителю презервативов иностранного производства привела к значительному и отмеченному социологами падению в нашей стране рождаемости и сокращению численности народонаселения. Но с некоторых пор, как я слышал, в результате введения нашими оппонентами против нас санкций и ограничения поставок нам продукции западного производства правительство намерено по программе импортозамещения вновь запустить Баковский завод. Если это так и если инженеры завода способны вновь освоить технологию изготовления изделий номер два, тенденция сокращения численности населения имеет шанс заметно замедлиться.

Но я на этой теме, кажется, слишком застрял, забыв, что читатель ждет продолжения моего рассказа, и вот оно. Когда я вошел в зал, там шло заседание, на которое если я и опоздал, то только чуть-чуть. С трибуны выступал какой-то пламенный оратор, то ли партизан Че Гевара, то ли писатель Лимонадов, в общем, кто-то из них, подвижный, с козлиной бородкой и ломким юношеским голосом, в очках. Очки во время его речи подпрыгивали на носу, как дрессированные. Я оказался в зале в тот момент, когда он произносил устаревшее слово «доколе».

— Доколе...

Он то держался обеими руками за трибуну, и так цепко, как будто она стояла на качающейся палубе, то отлипал от нее и опять же обеими руками начинал бурно жестикулировать.

— Доколе, — взывал он, — мы будем это терпеть? Эти паразиты перешли все пределы. Они давно уже залезли нам под кожу. Мы проявляли понимание, мы выжидали, надеясь, что они сами поймут границы своих возможностей и, насытившись, этим удовлетворятся. Так нет же, они лезут к нам в душу, они уверены, что мы молчали и будем молчать, что мы будем покорны, но они ошибаются. День ото дня у всё у большего числа людей открываются глаза на их вредоносную сущность. Что делать?

— Общественный протест! — пискнула моя соседка, белобрысая девица с вплетенными в косички двумя презервативами.

— Одиночные пикеты! — предложил толстый мужчина с пышными седыми усами.

— Массовый стихийный хорошо подготовленный митинг! — подал голос кудрявый молодой человек.

— Многолюдное шествие по Садовому кольцу! — предложил бритоголовый крепыш с серьгой в правом ухе.

Тут я не выдержал.

— Какие, — говорю, — к черту, пикеты, какой митинг, какое шествие? Если их столько развелось, их надо или маслом постным заливать, чтоб задохнулись и вылезли, или применить хирургические меры, но для этого нужны стерильные инструменты.

Все бывшие в зале повернули ко мне головы, тираду мою внимательно выслушали.

— То есть, — спросил меня седоусый, — вы предлагаете революцию?

— Да, именно революцию! — подтвердил я, и зал встретил мои слова бурными аплодисментами.

— Я против, — сказал седоусый. — И все, кто здесь сидит, против. Революция — это война, это кровь, а мы все за мирную смену власти через демократические процедуры.

И на эти слова зал отозвался бурными аплодисментами и дальше с одинаковой яростью аплодировал всем противоречившим одно другому предложениям ответить на произвол властей.

Предлагались:

Одиночные пикеты (Бурные аплодисменты).

Митинг (Бурные аплодисменты).

Мирное шествие (Бурные аплодисменты).

Марш миллионов (Бурные аплодисменты).

Всеобщее восстание (Бурные аплодисменты).

Ничего не делать (Бурные аплодисменты).

В конце концов под бурные аплодисменты пришли к решению провести марш миллионов человек на пятьсот, участие в интересах массовости разрешить всем, но не допускать никакого экстремизма, гейства и педофильства. И лозунги допускать исключительно мирные: «Перлигоса на нары!», «Думу распустить и подвергнуть...» — я не понял чему, то ли люстрации, то ли кастрации. «Чиновникам тюрьма! Олигархам смерть!»

Вот так все постановили и уже взялись писать резолюцию, когда на трибуну вскочил человек с лицом кавказской национальности и усами с

концами, закрученными за уши. Он поднял руку. Галдеж прекратился.

— Джентльмены, — обратился он к аудитории с грузинско-американским акцентом.

— Кто это? — спросил я свою соседку, ту самую, с презервативами в косичках.

— А вы не знаете? — удивилась она.

— Стыдно не знать, — заметил бритоголовый с серьгой.

— Это, — сказала девушка, — наш великий учитель и наставник Акакий Торквемадзе. Грузинский специалист американского госдепа по оранжевым революциям.

— Джентльмены, — повторил Торквемадзе, — братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои.

Все замерли. Торквемадзе отхлебнул воды из стакана.

— Вы меня извините, я явился к вам из цивилизованного мира и поэтому, может быть, не все понимаю, не понимаю, например, о чем вы сейчас договорились. И кто вы есть, оппозиция или послушное стадо баранов? Какой митинг, какой марш, какое шествие? Вы уже митинговали, маршировали, шествовали и гуляли с синими ведерками, белыми ленточками в оранжевых курточках. Вы делали это мирно, вы ходили по бульварам, улыбались друг другу, улыбались полицейским, и полицейские улыбались вам и били вас дубинками по башке. Вы радовались тому, как много вы видели красивых открытых приветливых лиц. Нет, я ничего против такого препровождения времени не имею. Прогулка на свежем воздухе, что может быть полезнее? Разве что бег трусцой. И если вам все это нравится, пожалуйста, продолжайте на здоровье, но за свой счет. Вы должны отчетливо понимать, что госдеп за пустые прогулки денег не платит. Он платит только за реальные дела, а реальным делом сейчас может быть... — он поискал глазами меня, нашел и указал пальцем... — как правильно говорит коллега, может быть только революция. Все эти ваши разговоры и опасения, все ваши заклинания, что только не революция, ничего не стоят. Каждый нормальный человек, который изнутри или снаружи следит за событиями в вашей стране, видит, что здесь без революции ничего сделать нельзя. Вы посмотрите, что у вас происходит. Вся страна погрязла в коррупции. Не только чиновники, а все, все. Коррупция с самого верха до самого низа. Воруют все. Те, кто вверху, тащат миллиардами, те, что внизу, чего-нибудь по мелочи, детали каких-нибудь агрегатов, мешок картошки, кусок мяса. Вашему Перлигосу скучно стало жить просто так, и он при вашем согласии и одобрении затеял сразу несколько войн. Но дело не только в нем. Если вы отправите его в отставку

или на нары, ничего не изменится. На смену этому Перлигосу придет другой Перлигос, но система останется та же. Значит, надо сломать весь механизм этой системы, самых отъявленных воров посадить, а других заменить честными людьми.

— А где их взять? — выкрикнул кто-то с места.

— Если нужно, — пообещал Торквемадзе, — честных людей пришлем из Грузии, из Америки, из Одессы. — И, превратившись вдруг в Джонсона энд Джонсона, продолжил с американским акцентом: — Поэтому нужна революция. Если вы ее совершаете, госдепартамент будет заплатить вам много деньги. Больше, чем вы можете украсть на своей работе. Но вы должны показать, что вы способны на революция. (Аплодисменты, крики: «Способны! Способны!»)

На стене высветилась большая карта Москвы, и Джонсон энд Джонсон лазерной указкой показал, как, куда и откуда должны идти восставшие массы и где им надлежит слиться в единый штурмующий поток. Какой-то человек с крупными седыми кудрями поднялся со своего места с вопросом, как будет идти оплата: за общее участие или за конкретные действия.

— Платить будем по гибкой шкале, — сообщил Двойной Джонсон, превратившись опять в Торквемадзе. — За общее участие по низшей ставке, за особую активность, проявление героизма — аккордно. Случаи героизма должны быть подтверждены показаниями свидетелей, предъявлением соответствующих фотоснимков с ваших айфонов и айпадов и в случаях особого героизма свидетельствами о смерти. Руководителям движения, или, как у вас говорят, зачинщикам, или, еще лучше сказать, закоперщикам, платить будем больше, рядовым революционерам меньше, но тоже достаточно. Отдельная плата будет за нападение на полицейского. Тоже разная шкала: за пощечину, зуботычину или дубиной по голове. Очень хороший эффект возникает от перевертывания автомобилей, особенно полицейских. Так что хорошо их переворачивать, еще лучше — поджигать. Поджигать можно и автомобильные покрышки. Они прекрасно горят, делают много дыма и вкусно пахнут. Если кто-то из вас согласится отметить свое участие самосожжением, мы будем это приветствовать и оплатим по высшей ставке.

— По высшей ставке — это сколько? — спросил я.

— В зависимости от возраста, — объяснил Торквемадзе. — Обратная пропорция. Чем моложе, тем дороже.

— Это, — говорю, — неправильно.

— Учтите, американцы всегда все делают правильно. Кто с этим не согласен? Видите, все согласны. Так вот в данном случае они исходят из

соображения, что молодой человек сжигает больше предполагаемых лет жизни. Это стоит дороже. Логично?

Мне пришлось с горечью согласиться, что сжигательной перспективы во мне осталось совсем немного, и соответственно, особо нажитья на такой акции я уже не смогу.

Революция

Я не помню, чем закончилась эта лекция, но вдруг увидел себя во главе разъяренной толпы, и оказалось, что я и есть Торквемадзе. Я бегу впереди, все за мной, кто с палками, кто с огородными инструментами, некоторые с травматическим оружием, а иные даже с автоматами Калашникова. А один человек тащил за собой на веревке пулемет системы «Максим», кажется, тот самый, который я видел когда-то в кинофильме «Чапаев». Бежим куда-то мимо здания на Лубянке, бежим по Ильинке в сторону Красной площади, где-то по бокам горят перевернутые машины и старые автомобильные покрышки. Толпа большая. К ней прибавились люди, до того стоявшие на обочине. Присоединились вылезшие из подполья триста тысяч скрытых бойцов госдепа. И опять (оказались проворными) двадцать шесть бакинских комиссаров, двадцать восемь героев панфиловцев, тридцать восемь литовских снайперш в белых колготках и сорок распятых мальчиков. Немногочисленные полицейские пытаются задержать толпу, но в них летят булыжники и коктейли Молотова. На бегу я заметил нашего славного градоначальника. Он стоял, прижавшись к стене какого-то учреждения, и громко плакал, глядя, как восставшие выворачивают из тротуара керамические плитки, к укладке которых он приложил столько сил и стараний. Но Москва слезам не верит, а революция продолжается. Звенят выбитые стекла магазинных витрин, из которых революционеры тащат все, что под руку попало, и при этом как факты особого героизма фиксируют на айфоны, делают селфи на фоне огня и разбитых витрин. Я бегу впереди, и мне так это нравится. Какой восторг! Обычно, когда я даже хожу медленным шагом, у меня скоро начинает болеть поясница, а тут бегу, несусь сломя голову, и ничего не болит. Бегу, как молодой, и на бегу понимаю, что в самом деле помолодел. Это революционный порыв сделал свое чудесное дело. (Поэтому всем-всем, кто страдает от того или иного недомогания, советую время от времени совершать хотя бы маленькую революцию, и, если останетесь живы, немедленный целебный эффект вам обеспечен.) Но вот мы пересекаем Красную площадь. Подожгли по дороге ГУМ, и он вспыхнул сразу весь, как набитый сеном деревянный сарай. Кто-то бросил гранату в Мавзолей Ленина. Уперлись в Спасские ворота: они закрыты. Знающий человек говорит: надо идти через калитку. Ринулись туда. Там два человека в штатском, один повыше и постарше, другой пониже и помоложе. Младший вход собою загородил, старший спрашивает:

— Стоп, граждане, вы куда? Пропуск есть?

Все сзади меня, естественно, растерялись.

Я им говорю:

— Ребята, спокуха, сейчас разберемся.

И обращаюсь прямо к старшему:

— В чем дело? Почему препятствуете прохождению народных масс?

— Никаких народных масс не знаю, — отвечает. — А если у вас экскурсия, то должен быть пропуск со списком участников.

— Какой, к черту, пропуск? Вы разве не видите, у нас не экскурсия, а революция!

— А-а-а, — говорит он, — если революция, тогда дело другое. Минуточку.

Кому-то позвонил по телефону старой конструкции — с колесиком с дырками, забыл, как называется. Поднял руку.

— Граждане революционеры, минуточку терпения. Сейчас подойдет начальник охраны, во всем разберемся.

Стоим, переминаясь с ноги на ногу.

Наконец появился начальник охраны в старинной форме с эполетами, расшитыми золотом, и с кивером на голове.

— В чем дело, товарищи-господа?

— Да вот, — говорю, — желаем взять штурмом Кремль, у нас народная революция.

Меня удивило, что его это не удивило.

— Ну что ж, — говорит, — революция дело хорошее, проверенное и одобренное товарищем Зюзю, но нужно разрешение.

— Чего? — говорю. — Какое еще разрешение?

— Письменное. От мэрии. С подписью мэра и с круглой печатью. А также с указанием количества участников и времени проведения от девяти до восемнадцати часов.

Я, надо сказать, возмутился.

— Что ж это за дурь, — говорю. — Это же революция. Вы слышали, чтобы Ленин спрашивал разрешения или Троцкий?

— Насчет указанных лиц не знаю. Но все экскурсоводы на проведение массовых экскурсий, а тем более революций, должны получать разрешения.

Я не отступаю, гну свое.

— Что, — говорю, — за бюрократические уловки? Да где вы видели, чтобы народная революция совершалась по бумажке? Думаете, в девятьсот семнадцатом году большевики с бумажками шли на Зимний? Не было у них

никаких бумажек, кроме, может быть, мандата, подписанного лично товарищем Троцким.

— Хорошо, — говорит начальник. — Давайте мандат, подписанный Троцким.

Я ему резонно отвечаю, что мандата, подписанного Троцким, нет, но вот — протягиваю ему тайную инструкцию американского госдепа по проведению оранжевых революций с личной подписью госпожи Барбары Страйзен.

Эта бумага произвела впечатление. Начальник долго ее изучал, посмотрел на просвет, проверил на зуб, сфотографировал на айфон и опять позвонил куда-то. Но, выслушав ответ, вернул бумагу, развел руками:

— Весьма сожалею, но после введения против нас санкций все указания американского госдепартамента должны проходить предварительную экспертизу и согласовываться с нашим министерством иностранных дел. Так что вот...

Он опять развел руками, пожал плечами, а лицом показал полный отказ.

Тем временем задние напирали на передних и нетерпеливо вопрошали, что там происходит. Передние отвечали следующим за ними:

— Нужна экспертиза.

И следующие за следующими отвечали следующим за ними:

— Нужна экспертиза.

Так эти слова шли из уст в уста дальше, постепенно убеждая восставший народ, что прежде, чем восставать, надо все-таки провести экспертизу, пройти нужные согласования и получить необходимые разрешения, резолюции и печати. И когда дело дошло до последнего ряда, все стали поворачиваться в обратную сторону, последний ряд стал первым, а во главе его оказался Чегевар Лимонадов, который шел сзади, а теперь оказался первым и с лозунгом «Даешь МИД!» повел народ на Смоленскую площадь. Но потом, как я слышал, в этой толпе возникли серьезные разногласия, и одни по-прежнему шли на МИД, но не дошли до него, другие не дошли до Лубянки, третьи хотели ограбить ГУМ, но он за это время сгорел, повернули на ЦУМ, но по дороге рассеялись, разбрелись по пивным и закусочным, а другие и вовсе отправились по домам, но все добрались или нет, неизвестно.

Но когда все повернулись, и самым последним оказался, конечно, я, начальник охраны, приблизившись ко мне, сказал:

— А вас попрошу остаться. — И, понизив голос до шепота, добавил: — Сам хочет вас видеть.

— Меня? — удивился я.

— Именно вас.

В приемной Перлигоса

Все еще недоумевая, зачем я мог понадобиться столь высокому лицу, я последовал за начальником. Сначала меня провели через металлоискатель, потом очередной охранник всего меня общупал, нашел в боковом кармане пластмассовую расческу, долго вертел в руках, соображая, не могу ли я употребить ее как орудие нападения. Решил все-таки, что такое возможно, и оставил ее у себя, пообещав, что, если вернусь, он мне ее отдаст. Меня смутило то, что он сказал «если», а не «когда», но я решил положиться на судьбу, однако попросил охранника, прежде чем он оставит расческу у себя, дать мне ей причесаться. И надо сказать, что он проявил понимание, не отказал. И вот я сижу в очень просторном зале, может быть, даже в Грановитой палате или какой-то другой. Вдоль стен расставлены кресла, а над креслами к стенам прибиты головы разных диких животных: тигров, волков, медведей, оленей, лосей, кабанов и прочих. И под каждой головой табличка с каким-то текстом, который я издали разобрать не смог. Я сижу в одном кресле, а в других разные высокопоставленные люди: министры и генералы, которых я раньше видел только по телевизору и никогда даже в самых честлюбивых своих мыслях не мог представить, что когда-то вот прямо в самой близкой близи увижу таких знаменитостей. Один генерал с четырьмя звездами на погонах рядом со мной сидел, очень известный, и, судя по тому, что он со мной почтительно поздоровался, я оказался тоже небезызвестен ему. Сидели молча. Я от нечего делать достал свой мобильник и стал писать эсэмэску жене. Так, мол, и так, ты не поверишь, но сижу в приемной Перлигоса, поздравь меня и, если что, не поминай лихом.

— Я извиняюсь, — шепотом обратился ко мне мой четырехзвездный сосед, — а вы здесь по какому делу? Тоже коррупционному?

— Я?! — удивился я. — А почему вы так думаете?

— Потому что здесь сидят все те, кого обвиняют в коррупции. Вот я и думаю, что вы тоже по такому же делу.

— Да нет, — говорю, — я к коррупционным схемам, к сожалению, допущен не был.

— Как это? — говорит сосед. — Как это не был? Неужели вам никто ничего не заносил, не откатывал?

— Увы, — говорю, — все мимо несли, а ко мне ни разу не завернули.

— Да, — вздохнул мой сосед, — много еще у нас несправедливостей.

Посидели, помолчали. Мой сосед сидел, опустив голову, и шевелил губами, может быть, беззвучно репетировал свою оправдательную речь или вспоминал десять библейских заповедей.

— Простите за любопытство? — спросил я его. — А в чем вас конкретно обвиняют?

— В сущей ерунде, — ответил он и объяснил суть.

Ему, занимавшему должность начальника управления вещевого снабжения армии, было выдано сто миллионов рублей на покупку байковых зимних кальсон солдатам срочной службы. Он закупил вместо кальсон сатиновые трусы. Он сам, когда был молодым, стеснялся ходить в кальсонах, поэтому думал, что и солдаты предпочтут кальсонам трусы. Он сэкономил на этом из ста миллионов семьдесят, которые положил на свой счет в офшорном банке. А тут ударили сначала санкции, а потом и морозы. В результате санкций счета его оказались замороженными, а в результате морозов солдаты себе кое-что отморозили. А его привлекли к ответственности. Это решение ему показалось несправедливым, потому что раньше, начиная примерно с капитанского звания, он всегда делал что-то подобное, и ничего, проходило, а теперь попал под кампанию усиления борьбы с коррупцией.

Сидел здесь и сам министр обороны, которого раньше, учитывая его объемы и размер одежды, называли Экстра-Экстра-Лардж министром, а теперь, учитывая изменившийся статус, стали называть Экс-Экстра-Экстра-Лардж министром. Так вот он, когда был уже Экстра-Экстра, но еще не Экс, ворочал не миллионами, а миллиардами, купал свою любовницу в шампанском и парном молоке и по-честному делил с ней военный бюджет: половина стране, половина себе, половина любовнице. Вы скажете, по правилам арифметики тут что-то не сходится, но по его правилам до поры до времени все сходилось. Законную жену при этом он своим вниманием обходил, нарушая правило другой арифметики. Дело в том, что его женой была дочка одного большого начальника, большего даже, чем сам этот министр, и раз уж тебе с таким человеком повезло породниться, так будь ей верен до гроба по известной украинской пословице: бачили очи що купували, ищите хочь повилазьте. Так вот, если бы он ел, что купил, и как примерный семьянин делил бюджет со страной и женой, ему могли бы просто поставить на вид. Или объявить выговор. Или даже похвалить за расторопность. Но в этом случае его ожидало суровое наказание, что было видно по выражению его лица и состоянию тела, которое все дрожало, как тесто в квашне во время землетрясения.

Любовница тоже ожидала высокого суда, но не дрожала, а, пытаясь

отвлечься от мрачных мыслей, сидела в уголке и сочиняла поэму, посвященную ночной розовой пижаме Экстра-Экстра-Лардж, которую у нее нашли при обыске. Ее обнаружили в тот момент, когда в ней находился сам министр. Министра тогда из пижамы вытряхнули и увели, а пижаму оставили, и этот предмет одежды теперь вдохновлял любовницу на высокое творчество, немедленно распространявшееся по широким просторам Интернета. Всю поэму о пижаме я не запомнил, но отдельные строчки застряли в моей слабеющей памяти:

Ах, пижама, пижама, пижама,
ты когда-то со мною лежала,
а то тело, что ты окружала,
от любви и желанья дрожало.
Ах, пижама, пропахшая потом,
Ах, пижама, пропахшая страстью...
Мне в тебе не хватает чего-то,
Или, может быть, даже кого-то,
С кем познала я краткое счастье.

Если хотите знать мое мнение, стишок совсем недурной. В нем, если угодно, имеет место даже некоторая виртуозность: первая ассонансная рифма: «пижама — лежала» меняется на ординарную глагольную: «лежала — окружала».

Рядом с поэтессой сидел один очень большой чиновник и трепетал не от любви и страсти, а от страха. Он задавил маленькую старушку, переходившую улицу по пешеходному переходу при зеленом сигнале светофора, и теперь тоже слегка волновался. Здесь же находились в полном составе члены кооператива «Водохранилище», которых злобные оппозиционеры обвиняли, что они свои миллиарды приобрели не совсем честным путем и спрятали за границей. Они пришли с жалобой, что западно-восточные страны ввели против них секторальные санкции, лишившие их возможности доступа к своим счетам и недвижимому имуществу. Они тоже волновались, опасаясь, что Перлигос откажет им в полном возмещении их убытков. И только молодой человек в ближнем углу ни о чем не волновался. Он сидел спокойно и писал эсэмэски любимой девушке, ожидавшей его у памятника маршалу Жукову. Этот человек, когда я его спросил, за что его сюда привели, ответил: «Практически ни за что». Но сидевший рядом с ним заплаканный полицейский перебил его и сказал мне:

— Не верьте, он все врет.

И рассказал, что во время беспорядков на Трясинной площади молодой человек выкрикивал возмутительные слова «Крым не наш», а его, полицейского, объяснявшего ему с помощью дубинки, что Крым наш, ударил ладонью по каске. Чем причинил стражу порядка невыразимые физические и нравственные страдания, отчего тот потерял сон, аппетит, интерес к супруге и постоянно плачет.

Ну, если перечислять всех, то нельзя не упомянуть еще одного губернатора очень большой и успешной области, которого я много раз видел по телику. Сначала как члена ведущей политической партии, успешного руководителя крупной области и большого православного патриота. А не далее как вчера опять показали его же, но как главаря организованной преступной группировки. Не только его самого показывали, но и шестьдесят килограммов украшений, золотых, платиновых, бриллиантовых, рубиновых и изумрудных. Всякие браслеты, медальоны броши и серьги, которыми можно было бы одарить значительную часть женщин его губернии, продемонстрировали также набор ручных часов, некоторые стоимостью до миллиона долларов и ручку-самописку в ту же цену, а еще и сами деньги — сколько-то миллиардов во всех валютах разложили большими разноцветными пачками по всему полу большой комнаты — это было, конечно, зрелище. Мы с Варварой вместе на все это смотрели и Варвара, помнится, удивилась:

— И за что же его, бедного, посадили? Видно, кому-то чем-то не угодил.

— При чем тут угодил или не угодил? — возразил я. — Ты же видишь, сколько он наворовал.

— Эх, ты! — возразила она. — Дожил до таких лет, а до сих пор не понял, что ворующих миллиардами за воровство не сажают. А сажают, если чем-то не угодил.

Пока я вспоминал наш разговор с Варварой, очередь в приемной уменьшилась. Сидевших под дверью одного за другим приглашали войти, и я видел, как каждый из них съеживается, становится маленьким-маленьким, в ином случае кажется, что сейчас превратится во что-то мизерное, не больше клеща. При этом каждый вызванный внутрь втискивается медленно и с трудом, но оттуда вылетает пулей. Некоторых из вылетевших какие-то люди берут тут же под руки выводят в разные двери. Первого вывели, и тут же раздался негромкий хлопок. Генерал, заместитель кальсонов трусами, вздрогнул. Потом второго вывели — и опять хлопок. Он опять вздрогнул, посмотрел на меня и спросил шепотом:

— Как вы думаете, что это за звуки? Их там расстреливают?

— Да нет, — говорю, — что вы? Как вы могли подумать. У нас смертная казнь запрещена.

— А что же там хлопает?

— Да дверь хлопает.

— Вы думаете? — сомневается. — Мне кажется, обычно дверь хлопает как-то не так, а так хлопает пистолет с глушителем.

И потом при каждом хлопке вздрагивал, пока не позвали его самого. Он вошел, через минуту вышел с печальным лицом и успел мне шепнуть, что получил предупреждение о неполном служебном соответствии.

После него позвали Экс-Экстра-Экстра-Лардж министра, который теперь, ввиду выпавших ему переживаний, одно Экстра потерял, похудел и мог бы сменить одежду на тоже с одним экстра.

Министр вскоре вышел живой и невредимый, но с противоречивыми чувствами. Его оправдали при условии, что вернется к жене, а в наказание за коррупцию внесет в казну штраф в двести рублей. Со штрафом он согласился, но остался в сомнениях, что лучше — возвращение к жене или тюрьма.

Задавившего старушку тоже простили, приняв во внимание, что хотя она переходила улицу на зеленый свет, но, будучи подслеповатой, могла бы пойти и на красный. А поскольку она уже явно превысила порог средней продолжительности жизни в нашей стране, Пенсионный фонд счел необходимым объявить задавившему благодарность.

Членам кооператива «Водохранилище» были обещаны компенсации ущерба, нанесенного секторальными санкциями из государственного бюджета.

Что же касается молодого человека, то он за зверское избиение полицейского получил по заслугам. Не помню точно, трешечку, пятерочку или семерочку в лагере общего режима.

Когда этого преступника вывели в наручниках, я в зале остался один и в ожидании, что вот-вот позовут и меня, стал читать «Отче наш», который я знал наизусть, но только до «И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Дочитал до «лукавого» — не вызывают. Опять прочел столько же — не зовут. Стал успокаиваться, думать, что раз я взяток не брал, старушек не давил, полицейских не бил, меня привели сюда совсем по другому делу. А если даже и ждет меня самая суровая участь, то и ладно. Чего мне бояться? Если и расстреляют, это лучше, чем умирать в мучениях от энцефалита или боррелиоза. В моем возрасте вообще расстрел можно рассматривать как эвтаназию, избавление от страданий, неизбежно

сопутствующих старости и приближающейся агонии. Короче говоря, я успокоился и стал ждать смиренно, положив руки на колени. Потом решил размяться и пошел вдоль стен, разглядывая головы прибитых к стене животных. Теперь вблизи я мог прочесть пояснительные тексты под ними. На первой общей большой табличке было написано, что Его Высокопревосходительство Перлигос, заботясь о сохранении нашей дикой природы, постоянно занимается спасением от уничтожения разных животных, особенно редких, занесенных в Красную книгу. Так вот под каждым из краснокнижных животных отдельно было указано, что это животное спасено лично Его Высокопревосходительством Перлигосом в уссурийской тайге. А это в подмосковном лесу. А это в тундре. А это еще где-то. Разглядывая эти экспонаты, или, может быть, их лучше назвать трофеями, я задумался, можно ли считать нормальным способ спасения диких животных путем прибавания их голов к стенке. Но мысли своей до конца не додумал, потому что в дальнем углу открылась резная дверь, и через весь зал мимо меня прошел черный худой человек, которого я сразу, представьте себе, узнал. Это был муж Зинули — Иван Иванович, Ванюша, Котик, с которым она шепталась, когда они, думая, что я или сплю, или нахожусь в коме, говорили о возможности моего исцеления. Он шел с пластмассовым ведерком, в котором что-то плескалось, и скрылся за дверью в кабинет Перлигоса, и меня это очень сильно насторожило. Потому что если он с самим Перлигосом начнет обсуждать то, о чем говорил с Зинулей, то вполне может так случиться, что я отсюда не выйду и моя расческа достанется охранникам.

Мои размышления были прерваны тетей с цинковым ведром и шваброй. Подоткнув суконную юбку, она стала окунать швабру в ведро и протирать пол, ворча при этом себе под нос:

— Вот ходют тут всякие, ходют и ходют, топчут и топчут. И где? В Кремле? Здесь царь ходил босой. А вы разуться не можете? Боитесь, что ботинки сопрут? Дак кому же они нужны, стоптанные...

Незабываемая встреча

Вышел Зинулин муж и, проходя мимо меня в обратную сторону, сказал громко:

— Можете пройти. — А шепотом добавил: — Если вы увидите, что Их Высокопревосходительство выглядят как-то необычно, не удивляйтесь, они опять перевоплотились.

Хорошо, что он сказал мне это заранее. Я вошел и увидел тоже приличных размеров зал, ярко освещенный несколькими многоярусными хрустальными люстрами, с длинным столом для многочленных заседаний, который дальним торцом упирался в другой стол, большой письменный черного дерева с вырезанными на филанках разными птицами, над которым со стены взирала на происходящее большая позолоченная, а возможно, и вполне золотая птица с изумрудными глазами и двумя головами. Но это был не орел. От двуглавого орла птица отличалась полутораметровыми клювами, которые торчали в разные стороны, как лезвия раскрытых ножниц. А за столом тоже сидел пеликан, но не двух-, а одноголовый, и голова эта с редким розовым пухом на макушке была насажена на человеческое туловище в пиджаке, белой рубашке и темном галстуке. Вы скажете, это был бред, и я не стану возражать. Да, это было похоже на бред. Или сказать точнее, бредовая явь. Это было существо с человеческим туловищем, с пеликаньей головой, но с лицом, если можете себе представить, похожим на то, которое мы с вами много раз видели на плакатах, обложках популярных журналов, и на экране телевизора видели чаще, чем себя в зеркале.

Да, это был он, наш дорогой, любимый и незабвенный, с пеликаньей головой. Вы можете мне напомнить, что я его уже видел, когда в другом бреду оно несло по улицам Москвы на трехколесном мотоцикле, но тогда-то я думал, что это просто маскарад, что голова человеческая, а клюв ненастоящий, но теперь, с близкого расстояния, я видел, что и голова, и клюв — все самое натуральное, не приклеенное, не привернутое шурупами, не прикрученное проволокой, а естественным или, наоборот, противоестественным способом вырастающее из человеческого тела. Он внимательно смотрел на меня, хлопая полупрозрачными веками и шевеля клювом, лежавшим поперек стола во всю его ширину.

Когда я все это увидел, мне, правду скажу, стало очень не по себе. Даже если бы не было этих пеликанов, сидящего за столом и висящего на

стене, я бы и тогда оробел. Потому что вообще робею перед высоким начальством. Вхождение в кабинет, где человек столь высокого полета творит свои таинственные и не всегда понятные мне государственные дела, меня всегда приводит в неизбежный и неуправляемый трепет. Но тут меня просто бросило в жар и дрожь. Ноги у меня ослабели, а руки так дрожали, как будто на меня неожиданно напал дедушка Паркинсон. Пройдя приблизительно половину расстояния от двери до стола Перлигоса, я остановился на полпути, чувствуя, что ноги не идут дальше. Но тут раздался знакомый голос, негромкий и приветливый, который сказал мне:

— Ну что вы там замешкались, не стесняйтесь, проходите.

Легко сказать «проходите», но попробуйте пройти, когда ботинки с таким трудом отрываются от пола, как будто намазаны клеем. Все-таки я как-то приблизился. Он, не вставая со своего места, протянул мне руку. Это была обыкновенная человеческая рука с ладонью, но с перепонками между пальцами. Он не мог встать со своего места, потому что сидел — даже страшно сказать — голым задом на большого размера яйцах. На пеликаньих. Сидельная часть его кресла была корзиной, сплетенной из ивовых прутьев, и там лежали три или четыре больших яйца, вот почему Перлигос, который в обычном состоянии бывает исключительно вежлив, приветствовал меня сидя. Тут-то я и вспомнил ночной рассказ Ивана Ивановича. Понятно, что, увидев такое, я не на шутку разволновался. Когда я ответно протягивал свою руку, она очень сильно дрожала. Даже нельзя сказать, что дрожала, а тилипалась, как собачий хвост. Возможно, это было проявление боррелиоза. Я это тилипанье никак не мог унять и попасть в его руку. Но он мою в воздухе перехватил и крепко так сжал, пытаясь удержать те конвульсии, которые не давали ей соединиться с его конечностью.

— Успокойтесь! — сказал он сердито. — Что это вы так дрожите? У вас что, лихорадка?

Я говорю:

— Никак нет, Ваше Высокопревосхо...

Он откровенно поморщился:

— Не надо этого. Зовите меня просто Иван Иванович.

Я смутился. Потому что это глупо мне в моем возрасте и при моем каком-никаком положении в обществе так вот робеть перед всяким Иваном Ивановичем. Даже если он очень большой Иван Иванович. Даже если самый главный Иван Иванович. Он как будто уловил мою мысль и высказал свою:

— Да, я главный Иван Иванович. Но в то же время я простой Иван Иванович и очень даже доступный Иван Иванович.

Он сказал это с очень доброй интонацией, и мне показалось, что мне и правда нечего беспокоиться, ничто зловещее меня здесь не ожидает.

Все-таки не могу понять, почему это млекопитающие, животные, которые своим строением более или менее похожи на нас, а иные даже более, чем менее, почему никто из них не может подражать нам в произнесении звуков человеческой речи, а птицы: попугаи, вороны, скворцы — с клювами — легко это делают. Когда-то у меня был попугай Кирюша. Так он вообще любые звуки, какие слышал, включая лай собаки, плеск воды, гул реактивного двигателя, звонок телефона, имитировал, как вряд ли сумел бы какой-нибудь пародист. А меня он так передразнивал, что моя жена иногда его речь принимала за мою, когда думала, что я выпил.

Однако я отвлекся. Видя, что Перлигос, как мне показалось, относится ко мне вполне дружелюбно, я постепенно успокоился, а он предложил мне сесть и указал клювом на кресло сбоку от стола, потому что не сбоку к его столу примыкал тот длинный стол для заседаний.

— Хотите что-нибудь выпить? — спросил он любезно.

— Да нет, спасибо, ничего не хочу, — ответил я в надежде, что разговор наш все-таки будет недолгим, и мне удастся покинуть этот кабинет живым и здоровым.

— А мне, признаться, захотелось перекусить, — сказал он.

Нырнув клювом в ведро, вытащил сверкнувшего в электрическом свете мелкого караса и немедленно проглотил его, а я восторженным взглядом сопровождал это действие.

— Желаете тоже? — спросил он, ложно истолковав мой восторг. — Прощу. — Молниеносным движением клюва выхватил из ведра еще одного карасика и швырнул на стол, где бедная рыбка стала трепыхаться, как я пару минут назад.

— Нет, нет, — на всякий случай я отстранился, — я, извините, живую рыбу не ем.

— Ну и напрасно, — сказал он, подхватив и проглотив эту рыбку, и мне показалось, что я даже видел, как она проскользнула ему в желудок и там замерла, свернувшись колечком. — Очень даже напрасно. — повторил он. — Сырая рыба содержит много полезных жиров, витаминов и микроэлементов. — Помолчал, углубился в себя, прислушиваясь к процессу пищеварения. Очнулся от какой-то высокой мысли. (У них, первых лиц государств, всегда мысли высокие. Низких, как у нас, у них не бывает.) — Да, так с чем вы ко мне пришли?

Я растерялся. Сказать, что собираюсь революцию совершить, в данных условиях глупо. Решил прикинуться дурачком.

— Да я, собственно, ни с чем. Не считая клеща.

— Клеща? — поднял он брови. — Это в каком же смысле?

— В самом обыкновенном, Иван Иванович. Я был в лесу, собирал грибы, и — короче говоря — вот здесь во мне сидит клещ. Но извините, с этой ерундой я бы к вам никогда не решился...

— Ну почему же. — Он милостиво улыбнулся. — Ко мне как раз со всякой ерундой только и ходят. У нас, видите ли, такая страна, что без первого лица государства никто ничего решить не может. Ни посеять, ни собрать, ни купить, ни продать, ни провести выборы, ни начать войну, ни вынуть клеща никто не может. Даже присоединить какой-нибудь полуостров сами не могут. Ко мне бегут, брать или не брать? Что за вопрос? Гамлеты тоже, едри их мать. Да у нас не только люди, а и дикие существа развратились. Никто не хочет исполнять свои обязанности. Тигры в тайге не желают охотиться, лень им бегать за дичью. Предпочитают в зоопарке в клетке сидеть, чтоб им мясо готовое каждый день в дырку совали. Птицы отказываются размножаться. Одна пара малиновых пеликанов осталась на всем белом свете, а и те не желают на собственных яйцах сидеть. И никому другому поручить нельзя. Сам сижу и сам постепенно перевоплощаюсь. Вы вот, я знаю, считаете, что государством плохо руковожу, зажимаю демократию, не борюсь с коррупцией... А когда мне всем этим заниматься, если столько отвлекающих моментов?

Я, конечно, спорить с ним не могу. Потому что кто я и кто он. Однако ж я помню, что я гражданин и должен, если уж выпала такая возможность, вспомнить Гавриила Державина, который истину царям с улыбкой говорил. Вот и я улыбнулся и говорю:

— Ваше, — говорю, — Высочайшее Восходительство, дорогой наш вождь и отец нации, Иван Иванович. Совершенно и полностью с вами согласен, животный мир у нас не такой, как нужно, да и народец, если прямо говорить, ленив и нелюбопытен. Неспособен на что-то такое эдакое. Хотя в случае чего всегда готов отдать свою жизнь за что-нибудь такое, хотя бы за вас. За неимением ничего другого чего-то стоящего. Но какой уж есть, и вы, его отец, должны не только о пеликанах, но и о народе позаботиться. Вот вы, когда будет минутка, поднимитесь из своего гнезда и с высоты птичьего полета оглядите, что происходит у нас. Коррупция ужасная, взятки и воровство, политические убийства и убийства просто по пьяни. Женщины в пьяном виде зачинают детей, а потом хорошо, если оставляют в роддоме. А бывают случаи, не поверите, в мусоропровод выбрасывают. Больше того. Людоеды встречаются. Я читал про одного, он женщин насиловал, убивал, а потом варил, жарил, готовил разные блюда и

угощал гостей. А какое у нас неравенство! Одни ворочают миллиардами, другие в кармане мелочишку перебирают. Пьянство, наркомания, низкая рождаемость, высокая смертность. Законов нет. Укрavший мешок картошки сидит в тюрьме, а присвоивший миллиарды строит дворцы.

Он помрачнел и похрустел клювом.

— Присвоивший миллиарды... Это вы на меня намекаете?

— Ни в коем случае, Иван Иванович. Не намекаю. Правда, читал в Интернете, что у вас сорок или сто сорок миллиардов долларов.

— И вы в это верите?

— Я бы мог в это поверить, если бы мог вообразить.

— А вы не можете?

— Никак нет.

— Странно, — сказал он. — А мне говорили, что вы писатель и даже отчасти фантаст, а такое скромное воображение. Неужели не можете досчитать хотя бы до триллиона?

Своей учтивостью он меня так расположил к себе, что я осмелел и решил открыть ему глаза на то, что до первых лиц государств не всегда доходит.

— Дорогой Иван Иванович, — сказал я ему, — мудрый, великий и любимый наш Перлигос...

...Я видел, что начало ему понравилось, и продолжил:

— Я обращаюсь к вам как старый человек, много чего повидавший и в конце жизни к пониманию кое-чего пришедший. Мне кажется, вы недооцениваете своих возможностей. Судьба подняла вас на высшее место в большом государстве. Оказавшись на столь высоком посту, я уверен, вы не могли не задуматься, почему наша страна такая бедная, если она такая богатая. Судьба, подняв вас на этот высокий пост, дала вам шанс вывести страну из тупика, в который ее загнали ваши предшественники, и войти в историю великим реформатором. Я знаю, перед вами много соблазнов, и среди них соблазн упоения властью и доступ ко всем богатствам страны. То и другое позволяет вам жить в роскоши и неге, пить дорогие вина и вкушать изысканные яства. Вы можете получать любое доступное человеку удовольствие, плавая на океанских яхтах, летая на сверхзвуковых самолетах, гарцуя на лучших скакунах, катаясь на трехколесных мотоциклах, спускаясь на дно морское в глубоководных батискафах, поднимая на поверхность древние амфоры, которые дожидались вашего погружения тысячи лет. С тех пор как вы заняли свой высокий пост, вы обнаружили в себе много талантов, которых раньше сами в себе не замечали. Вы с первого раза овладели искусством вожделения

стратегического бомбардировщика и истребителя последнего поколения. Когда вы выходите на лед против команды лучших хоккеистов страны, ни одному вратарю не удастся спасти ворота от пущенных вами шайб, а если бы вы взялись за шахматы, ни один гроссмейстер не избежал бы быстрого мата. Недавно я был свидетелем того, как мировые музыкальные светила были в восторге от того, как здорово вы исполнили на рояле одним пальцем мелодию, на которую им порой и десяти пальцев мало. Занимая высшую должность в государстве, вы получили возможность управлять миллионами людей, осуществлять грандиозные планы строительства мостов, зимних курортов, олимпийских игр, футбольных чемпионатов и масштабных военных маневров. Вы можете начать и победоносно закончить войну с каким-нибудь небольшим государством, присоединить к нам какие-нибудь территории, которые никому не нужны, и заставить наш большой и музыкальный народ петь старый гимн на новый лад. Я понимаю, какое удовольствие вы получаете, когда едете в Кремль или куда-то еще и ради вас одного останавливается все движение, тысячи автомобилей, не исключая машин «Скорой помощи», полицейских, пожарных и аварийных, замирают в бессмысленных пробках. И еще очень важное: с тех пор как вы взошли на эту вершину, на которой сейчас находитесь, многие люди нашли в вас такие достоинства, которые бывают несовместимы в пределах одной человеческой личности. Женщины считают вас красивым и сексапильным, они восхищены вашей походкой, осанкой, вашим взглядом и тембром вашего голоса. Мужчины уважают вас за присущую вам государственную мудрость, бескомпромиссность, открытость и мужество. Поэты посвящают вам велеречивые оды. И, наконец, молва гласит, что вы проявили себя как гениальный бизнесмен, за короткое время став самым богатым человеком в мире. Но все эти возможности и привилегии, легкие спортивные победы, обожание женщин, лесть мужчин, восторги поэтов и даже накопленная вами, по слухам, большая денежная масса, поверьте мне, не стоят одного плевка по сравнению с тем, что вы могли бы приобрести, будь вы по-настоящему честолубивым, готовым употребить свои сегодняшние возможности во благо своей страны и для прославления на века собственного имени. Прошу вас ради России, ее народа и себя самого, откажитесь от этих соблазнов, плюньте на эти виллы, дворцы и яхты, отвернитесь от окружающих вас льстецов и лжецов, отдайте ваши миллиарды, если они у вас есть, на лечение детей, больных раком, на лечение взрослых от алкоголизма, цирроза печени и Альцгеймера, на строительство дорог, с которыми у нас беда даже хуже, чем с дураками, распустите этот чертов парламент, отстраните от власти людей, уличенных

в коррупции, хотя бы тех, кого вы лично знаете (а вы знаете многих), предайте их суду, не жестокому, но строгому и справедливому, не выгораживайте своих дружков. На самом деле они ваши злейшие враги. Они вас потопят, а потопив, отвернутся и сделают вид, что незнакомы. Проведите честные выборы всех уровней. Сделайте Россию нормальной, цивилизованной европейской страной, чтобы ее граждане не стыдились, но и не слишком гордились, что они ее граждане. Сделайте все это, и вы прославитесь на все времена как мудрый, гуманный, бескорыстный правитель, народ будет вас уважать, ваши потомки и потомки всех ныне живущих россиян будут вами гордиться и говорить о вас лестные слова, когда от них не будет никакой выгоды, но именно тогда и стоять они будут гораздо выше, чем сейчас. Сделайте это. Не дожидайтесь революции снизу, сами проведите ее.

Я говорил сбивчиво, быстро, захлебываясь, боясь, что он меня перебьет и не даст договорить до конца.

Но он проявил терпение. Даже когда я закончил, он еще подождал, давая мне возможность добавить то, что я, может быть, упустил.

А потом спросил:

— Это вы чье мнение высказываете? Не американского ли госдепартамента?

Это его предположение меня обидело и покорило.

— Иван Иванович, — сказал я, — побойтесь бога. Неужели вы и ваши приближенные не можете себе представить, что обыкновенный гражданин нашей страны может сам, без всякого госдепа и совершенно бескорыстно, переживать за судьбу своей родины и народа, который достаточно настрадался и желает жить в мире, покое, без всяких катаклизмов и войн.

— А что говорит об этом сам народ?

— Народ, — говорю, — ничего не говорит. Он, как всегда, безмолвствует.

— Вот именно, — сказал он, — народ безмолвствует. А с безмолвствующим народом разве можно построить что-нибудь стоящее? Пытались с ним коммунизм построить, не получилось. Капитализм — тем более. Он только на то и способен, чтобы работать спустя рукава, воровать, пьянствовать, дебоширить, устраивать поножовщину. Право выбора его тяготит, он ждет всегда подсказки, за кого именно голосовать, и надеется, что за то, что нужным образом проголосует, ему что-нибудь дадут. А деньги, вы не поверите, я готов от них, сколько у меня их есть, отказаться и отдать народу, но он же их все равно пропьет, и опять у нас не будет ни больниц, ни дорог, и количество дураков не уменьшится. Нет, милостивый

государь, с таким народом ничего путного не сделаешь, а как его сделать другим, я не знаю.

— А я знаю, — сказал я, сам удивляясь своему нахальству.

Он повернул ко мне клюв:

— Подскажите.

Я на всякий случай спросил:

— А вы не рассердитесь?

Он сказал «нет», и я, решив, что пусть будет, что будет, сказал главное:

— Я уже намекнул. Нужна революция!

— Революция? — переспросил он и щелкнул клювом.

— Да, — подтвердил я, — революция. Но не какая-нибудь страшная со стрельбой, кровью, грабежом и разбоем. Такая революция, знаете ли, хорошая, мягкая.

— Бархатная, что ли?

— Ну, бархатная, или вельветовая, или шелковая — важно не определение, а суть. Чтобы произошла революция в умах. Чтобы люди поняли, что они живут неправильно, и чтобы захотели жить правильно.

Так сказал я и затаил дыхание: что он ответит? Или ничего не ответит, а кликнет стражу. Даже думать о том, что станет со мной, тогда не хотелось. Но ответ его оказался для меня неожидан.

— Совершенно с вами согласен, — сказал он спокойно. — Но революция, это такое дело, в котором, вы сами знаете, без народа не обойтись. А наш народ, как мы уже выяснили, слишком терпелив и пассивен и, что с ним ни делай, безмолвствует. На мирную революцию он совсем не способен, а чтобы произвести революцию настоящую, его надо как-то сильно задеть, возбудить, обидеть и озлобить. Ему надо устроить очень плохую жизнь, чтобы он захотел жить хорошо.

— Так вот и сделайте это! — вскричал я. — Постарайтесь сделать жизнь еще хуже, чем есть.

— Легко сказать, — вздохнул он. — Разве вы не видите, что я стараюсь. Я много чего делаю, чтобы народ озлобить, но вы же видите, он незлобив и, тем более, необидчив. Все терпит, утешаясь тем, что раньше хуже было. И это правда. Раньше людей загоняли в колхозы, раскулачивали, расказачивали, раскорячивали, ссылали в Сибирь, морили голодом, сажали за колоски, расстреливали за анекдот. Но если даже таким образом не удалось вывести народ из себя, что же я один могу с ним сделать? Он слишком хороший. Добрый, доверчивый, терпеливый.

— Согласен, — говорю, — он хороший, он добрый, он доверчивый. Но неужели совсем невозможно его как-нибудь ущучить, сделать ему что-

нибудь такое, чтобы он, проклятьем заклеянный, весь, как один, поднялся во гневе и пошел вперед заре навстречу с топорами, вилами и автоматом Калашникова?

— Да куда ж больше? — Перлигос горестно покачал клювом. — Мы уж и так все стараемся — и я, и дума, и правительство. — Принимаем антинародные законы, увеличиваем плату за ЖКХ, фальсифицируем результаты выборов, разгоняем мирные шествия, давим людей на остановках, запрещаем спасение сирот, уничтожаем природу, увеличиваем, с одной стороны, количество олигархов и, с другой стороны, число живущих за чертой бедности, объявляем войну, а народ все равно терпит и верит, что с ним иначе поступать нельзя. Что я еще могу сделать?

— Что-нибудь можете, — сказал я уверенно.

— Может, и вы могли бы? — спросил он, прищурясь.

— На вашем месте мог бы, — ответил я, не подумав и не предвидя, к каким последствиям приведет меня этот безумный ответ.

— На моем месте, — произнес он задумчиво. — Мое место — это управление огромным сложным государством. Вы думаете, вы могли бы справиться?

— А почему бы нет, — отвечаю я легкомысленно.

Это его явно рассердило.

— Что значит, почему бы нет? Для того, чтобы управлять таким государством, это же надо иметь особые способности.

— Да что вы говорите, — махнул я рукой, забыв, с кем общаюсь. — Да нашим государством какие только дураки, идиоты и параноики ни руководили, и ничего, справлялись.

Я хотел развить свою мысль дальше и привести конкретные примеры, хотя бы те, что случились за последние лет девяносто. У одного был сифилис мозга, за что или в результате чего он и был провозглашен гением всех времен и народов. Второй был законченным злодеем, постоянно нарушал все человеческие законы, миллионы людей расстреливал, раскулачивал, загонял в колхозы и тем самым восстановил крепостное право в наихудшем виде. Честных и талантливых людей превращал в лагерную пыль, бездарно командовал вооруженными силами и за это, заплатив миллионами жизней, присвоил себе звание генералиссимуса и славу величайшего полководца. Третий восстанавливал «ленинские нормы», благодаря чему на свободу вышли десятки тысяч сидевших ни за что людей, но деяния второго осудил частично, поэтому люди шестьдесят лет рассуждают и не могут найти ответа на вопрос, есть ли польза в злодействе. Он же выдвигал разные глупые идеи. Пытаясь сохранить

колхозную систему, засеивал всю страну кукурузой, догонял и перегонял Америку и за двадцать лет обещал построить коммунизм. Четвертый любил присваивать себе воинские звания и полководческие заслуги, награждать себя орденами и к концу своего правления оказался маршалом, пятижды героем, лауреатом самой высокой литературной премии и, как болтали злые языки, рухнул под тяжестью навешанных на него наград. Пятый решил, что все дело в слабой общей дисциплине, велел ловить людей в банях и кинотеатрах и спрашивать, почему они днем не работают, но всех переловить не успел и вскоре умер, от всего надорвавшись. За ним взошел на трон шестой, совсем слабосильный, которого с самого начала водили под ручки. Он, как говорили, приступил к исполнению обязанностей, не приходя в сознание, и через двенадцать месяцев умер. Восьмым был молодой и полный сил реформатор. Он пытался систему перестроить и укрепить, но она под его руководством рухнула и упала в руки восьмому, временному демократу, который управлял страной между инфарктами и запоями, и однажды с похмелья передал управление девятому... Тут я себя остановил, радуясь тому, что все эти примеры привел сам себе только мысленно, а мой собеседник, как я понял, мыслей читать пока что не научился. На вслух высказанное суждение не рассердился и даже наоборот.

— Ну что ж, — сказал он, поскрипывая клювом, — если вы считаете, что нашим государством может управлять любой дурак, — при этом он иронически посмотрел на меня, — давайте попробуем.

Прикрыв глаза полупрозрачными веками, он надолго замер. Видимо, думал. Тяжело думал. Потом вдруг ожил, встрепенул, решительно стукнул клювом по столу:

— Да, — говорит. — Я согласен. Объявляю вас своим преемником.

— Меня? — Я не поверил своим ушам. — Вы шутите?

— Нисколько. Вот вы знаете, мне многие люди завидуют, мечтают занять мое место и шепчут друг другу на ухо, что я его никогда добровольно не уступлю и поэтому меня надо свергнуть, посадить или убить.

— Что вы говорите? — вскричал я в негодовании. — Кто эти подлые люди?

— Ах, — вздохнул он печально, — если бы я знал. Ведь когда достигаешь моего положения, ты оказываешься немедленно окружен людьми, которые выражают тебе любовь, преданность и восторг. Восхищение твоим внешним видом, осанкой, мудростью и принимаемыми решениями. Никто не смеет усомниться в правильности твоих слов и действий, никто не оспорит твои намерения. Вот так изо дня в день тебя

встречают широкими улыбками, тебе говорят комплименты, тобой восторгаются, а что за всем этим стоит, какие интриги плетутся за твоей спиной, ты узнаешь, только когда тебя выкинут из твоего кабинета, и ты увидишь, что никто тебя не любит, никто тобой не восхищается, никто тебе не промолвит доброго слова и не пожалеет. А если тебя потащат на эшафот, не кто иной, как твой самый ярый противник, рискуя собственным благополучием, скажет: «Ну это уж слишком!»

Должен признаться, что до личной встречи с Перлигосом я к нему не испытывал никаких симпатий и не очень верил свидетельствам людей, которым довелось с ним познакомиться раньше. Эти счастливицы утверждали, что при личном общении Их Высокопревосходительство производят впечатление исключительно скромного, открытого и обаятельного человека. Теперь я лично в его обаянии убедился, и чувство нежности к его положению заполнило мою грудь. И мне захотелось ему сказать, и я сказал:

— Господи, Иван Иванович, ну зачем же вы себя такими ненадежными людьми окружили?

— Ха, — сказал он и курлыкнул по-журавлиному, а может, попеликаньи (я до того не слышал, как курлыкают пеликаны), — вот когда вы займете мое место, вы сами не заметите, как они вас окружат, возьмут в кольцо и никому на них непохожему не дадут сквозь это кольцо пробиться. Если б вы знали, как мне все они надоели.

— Вы имеете в виду ваше окружение? — спросил я.

— Я имею в виду людей вашей породы.

Я удивился, что он так откровенно, и быстро сказал ему:

— А я не еврей.

— А я не антисемит, — тут же отреагировал он. — Я имею в виду не евреев, а всю людскую породу, в которой всего-то за всю историю был один человек, Махатма Ганди, с кем можно было поговорить. А я не вовремя появился. Не совпал с ним во времени, и вот живу одинокий в толпе людей.

Я хотел обидеться спросить: а как же я? Ну, Ганди нет, а разговор со мной вы вообще в расчет не принимаете?

Но я не смог его об этом спросить. Потому что он, сам от собственных слов возбудившись, застучал клювом по столу и, повысив голос, сказал:

— Ненавижу! Ненавижу этих двуногих существ, трусливых, лживых, вороватых, коварных, которые тебе льстят, улыбаются, клянутся в верности, а сами готовы в любую минуту солгать, предать, убить и ощипать. Многие обратили внимание на мой интерес к диким животным и птицам и воспринимают его как чудачество. Но воспринимайте это как

хотите, а я диких зверей и птиц уважаю за их истинное стремление к свободе, за то, что они не убивают себе подобных, а тем, кого убивают, не лгут, что они их любят. Дикие звери и птицы, если уж показывают, что они вас любят, так они вас действительно любят. Вот почему я готов покинуть мир людей и уйти туда... вы сами понимаете или поймете. Так что вот, пожалуйста, уступаю вам трон. Или уже не хотите?

Признаться, я весьма оробел и говорю осторожно, надеясь, что передумает.

— Да я вообще-то не против, но ведь у меня нет никакого опыта.

— Ага! — воскликнул он радостно. — Значит, без опыта все-таки не решаетесь. Ну, ничего, опыт накопите. Тем более что, как вы сами сказали, управлять государством может каждый дурак. Так что уступаю. Но при одном условии.

— Догадываюсь при каком. Гарантию неприкосновенности вы получите. На всякий случай я бы посоветовал вам сделать пластическую операцию, но вы в ней не нуждаетесь. В таком виде можете свить гнездо где-нибудь вроде Новой Зеландии или Каймановых островов, никому не говорить, кто вы, и там сможете спокойно жить, высиживать птенцов, ничем не рискуя, если случайно не встретите какого-нибудь браконьера с ружьем. Ну, пару миллиардов я вам разрешу вывезти, хотя не представляю, как вы сможете ими распорядиться.

Кажется, мое обещание ему в целом понравилось, он выторговал у меня еще два миллиарда, после чего пришел в хорошее расположение духа, заулыбался (сами попробуйте вообразить, как можно улыбаться при помощи клюва) и даже рассказал мне свой любимый анекдот о том, при каких условиях бабушка могла бы называться дедушкой. А потом сказал:

— Ну что ж, значит, как говорится, быть по сему!

Он хлопнул в ладоши, и тут же под звуки того самого гимна, который мне раньше не нравился, а теперь показался очень даже приятным, в комнату вошла рота рослых и стройных кремлевских гвардейцев с президентским штандартом. За ротой шли какие-то штатские с какими-то знаками высшей власти и два морских офицера с ядерным чемоданчиком, который я сразу попросил в руки мне не совать, потому что мало ли чего, еще нажму не ту кнопку. Я все-таки, какой ни есть, на революцию согласен, но не на ядерную войну. Но какая война в душе моей разыгралась, никакими словами передать не могу. Я хоть человек суетный и тщеславный, но самые отчаянные мои мечты не заходили дальше того, чтоб мои книжки издавались большими тиражами, переводились на все языки и читались поголовно всем человечеством. Но чтобы такая власть

свалилась мне в руки... Я растерялся и испугался. И как же, думаю, я со всем этим справлюсь. Может, лучше не надо. А с другой стороны, и такое в голове крутится, что случай-то выпал единственный в своем роде, другого не будет. И как-то мельком вспомнился мне Джонсон энд Джонсон, вот думаю, теперь уж я этот Госдеп заставляю-таки раскошелиться, и поверх президентской зарплаты удвоить ту сумму, которую тогда в своем вагончике нарисовал на листке бумаги.

В обществе пеликано-людей

Не буду описывать суматоху первых дней. Поздравительные телеграммы от президентов, премьер-министров и венценосных особ. Новость, разумеется, передавали и комментировали все средства массовой информации. Мне были посвящены все политические ток-шоу. У меня не было времени их смотреть целиком, но пресс-служба записала их на диск, перед сном я их бегло просматривал и кое-чему удивлялся. Все наши телеведущие: Индюшкин, Кислов и Головастик и Лев Достоевский на все лады расхваливали меня, превозносили все мои существующие и несуществующие достоинства и очень критиковали моего предшественника. Так же его ругали, а меня хвалили постоянные участники этих ток-шоу включая Поносова, Коктейлева, Железякина и Озимую, но больше других старался Тимофей Семигудиллов. Оказавшись больше других востребован в качестве моего близкого друга и выступая одновременно по всем каналам, он величал меня великим русским писателем, патриотом до мозга и вообще истинно русским и глубоко верующим православным человеком, который вместе с ним, Семигудилловым, храбро боролся против ненавистного нам обоим прежнего диктаторского режима. О моем предшественнике отозвался пренебрежительно. Что он управлял страной единолично и безрассудно, совершил много ужасных ошибок, вообразил себя великим стратегом и полководцем, окружил себя толпой льстецов, которые ежедневно пели ему дифирамбы, восхваляли на все лады, и дошло даже до того, что некоторые называли его горным орлом, а он — это смешно — при ближайшем рассмотрении оказался простым пеликаном, глупой нелепой птицей, у которой одно достоинство — бессмысленно длинный клюв.

А против меня никто не сказал ни одного плохого слова, кроме Цыпочкина, который заявил, что подозревает меня в диктаторских амбициях и в том, что, имея широкий круг алчущих друзей, я вряд ли устою перед соблазном допустить их к управлению финансовыми, нефтяными и газовыми потоками и распределению между ними прочих богатств страны. Разумеется, его подозрения показались мне обидными, но я решительно отверг предложение силового министра подкинуть моему бывшему единомышленнику наркотики или подумать об автоаварии.

Прием в Большом Кремлевском Дворце по моему требованию был обставлен без лишней помпезности. В своей инаугурационной речи я сразу

сказал, что праздновать мое вступление в должность слишком бурно не будем. Мы, политики нового типа, должны быть людьми скромными, время зря не терять и активно готовить предреволюционную ситуацию. В следующем сне или бреду я решил созвать чрезвычайное совместное заседание Государственной думы, Совета Федерации, Совета министров, Совета безопасности и Администрации президента. Решил обсудить с коллегами, почему они так плохо работают. Почему, пытаясь озлобить народ, обидеть и возбудить в нем революционные настроения, они действуют несогласованно, неизобретательно и вяло, что видно по результатам. Как ни стараются, а пока сумели только возбудить, и это было нетрудно, незначительную часть так называемых креаклов и сетевых хомячков, а до сердца народа, до его печени и поджелудочной железы достучаться пока не могут.

Я повелел всем явиться к девяти ноль-ноль и строго предупредил, что кто не придет, будет лишен мандата, чем добился сразу стопроцентной явки. Подъезжая к зданию Думы, я увидел: вся площадь заставлена «мерседесами», «ягуарами», «майбахами» и «роллс-ройсами» настолько плотно, что даже велосипед мой некуда приткнуть. Пришлось оставить его на противоположной площади, пристегнув замком к памятнику Карлу Марксу. Я хотел явиться на заседание инкогнито, что у меня не получилось, потому что, как вскоре выяснилось, я внешне сильно отличался от тех, кто собрался здесь выслушать мою речь.

Сначала я вошел в пустой вестибюль, где в углу стоял большой агрегат, похожий на промышленный рефрижератор. Раскаленный докрасна, он издавал какие-то звуки, похожие одновременно на скрип старого кресла, скрежет металла, плач младенца и шелест бумаги. Он как-то дергался, подпрыгивал, валился то на одну сторону, то на другую, и неизвестно, что бы натворил, если бы не был привязан к стене двумя толстыми стальными тросами, как Прометей к скале. Чем-то он был похож на рвущегося на волю зверя: два красных глаза ожесточенно перемигивались между собой, а из разверстой пасти с пулеметной скоростью вылетали листы бумаги с отпечатанным текстом. Листы сами собой складывались на полу в пачки, пачки в кипы, а грузчики в синих спецовках с подтяжками еле-еле успевали подхватывать их, погружать на тележки и куда-то отвозить.

Пока я наблюдал работу этого странного агрегата, ко мне приблизился не Перлигос, но человек, похожий на Перлигоса тем, что тоже был с пеликаньим клювом. Низко поклонившись и ударившись клювом в паркет, этот человек назвал меня Перлигосом, а о себе сказал, что он председатель нижней палаты этого заведения и фамилия его Заморошкин. На его вопрос,

есть ли у меня какие-нибудь вопросы, я спросил его, что это за агрегат, который ведет себя таким странным способом.

— О! вы не поняли? — удивился Заморошкин. — Это наш знаменитый взбесившийся принтер. Очень надежный аппарат. Издаёт две тысячи законов в минуту и при этом никогда не ломается, поскольку не вдается в содержание того, что печатает.

Говоря это, Заморошкин взял меня под руку и пригласил пройти с ним в соседний зал, где к этому моменту в полном составе собрались господа депутаты и прочие.

Входя в это просторное помещение с мраморными колоннами и многоярусными люстрами, я услышал сначала неясный, но мощный гул, какой бывал раньше в общественных банях и на вокзалах, а когда совсем вошел, то увидел толпу существ, которые показались бы мне очень странными, если бы до этого я не был подготовлен к чему-то подобному. Люди в зале почти все были в розовых штатских костюмах и платьях, в розовых военных мундирах, в основном генеральского звания, и все с розовыми волосами. У кого своих волос не было, их заменяли парики из розовых перьев. Вместо носов у всех были пеликаньи клювы: изготовленные из разных материалов. У кого пластмассовые, у кого жестяные, а то и картонные, и лишь у сопровождавшего меня Заморошкина — из чистого перламутра. Я спросил его, почему все с клювами и почему — с разными.

— Вы что, — спросил я, — все перевоплотились, как Перлигос?

— Нет, — отвечал Заморошкин, — что вы! До нашего бывшего, но все еще любимого Перлигоса нам далеко. Он перевоплотился реально, а мы, чтобы хоть сколько-нибудь походить на него, пока носим клювы искусственные, но разные соответственно чину. У рядовых депутатов они картонные, у председателей комитетов — жестяные, у руководителей фракций — жестяные оцинкованные, у меня, извините, как у спикера — более высокого качества.

Я пригляделся — и правда. Клюв его, перламутровый, сделан искусно, но все-таки видно, что натуральной частью головы не является, а примотан к ней прозрачным скотчем. Я окинул взглядом помещение. С обыкновенными человеческими головами здесь были только люди, принадлежавшие, как я понял, к обслуживающему персоналу: тетеньки, сидевшие у тяжелых дверей в зал, грудастая буфетчица за стойкой и несколько мужчин в темных костюмах и темных очках — сотрудники секретной службы. Пеликано-люди разбились на группы, обсуждая в каждой какие-то темы государственного значения или травя анекдоты. Но

были и отдельные особи — те, заложив руки за спину, важно прогуливались по залу во всех направлениях и, встречаясь с идущими навстречу, церемонно, едва не касаясь пола концами клювов, раскланивались. А двое в дальнем углу мерялись пластмассовыми клювами — оказалось, и длина их имеет значение. Я долго разглядывал всех, когда ко мне подошел один из бесклювных, в ком я узнал все того же Ивана Ивановича, мужа нашей Зинули, который в прошлом сне проводил меня в кабинет Перлигоса.

— Пройдемте подгримируемся, — вежливо предложил он.

— Это как? И зачем? — спросил я недоуменно.

— Здесь много журналистов, телевидение. Они всегда требуют грима.

Он взял меня под локоть и провел в небольшое помещение, оказавшееся гримерной. Пока молодая симпатичная девушка по имени Люда, тоже бесклювная, пудрила меня и закрашивала мешки под глазами, Иван Иванович стоял у дверей в наполеоновской позе, сложив на груди руки. Кончив работу, гримерша достала из-под стола золотой (или позолоченный, я не понял) клюв и приставила к моему носу. Я невольно отшатнулся и спросил, что это значит?

— Мне сказали, чтобы я это на вас надела. — И Люда сделала движение упрятать мой нос под клюв.

— Да вы смеетесь? — Я решительно отвел ее руки от своего лица.

— Надо, Петр Ильич, — твердо сказал мой сопровождающий. — Если вы хотите, чтобы аудитория приняла вас за своего, надо это надеть. Иначе вы будете выглядеть белой вороной.

Мне показалось это смешно быть белой вороной среди розовых пеликанов, и я расхохотался.

— Нет, — сказал я, отсмеявшись, — белой вороной я для них все равно останусь, поскольку могу быть таким же клювастым, но мой образ мыслей с большинством здесь собравшихся вряд ли достаточно совпадает.

На первый раз я на этот маскарад согласился, и Люда проделала все очень ловко, щелкнув какими-то застегками у меня на затылке. Я посмотрел на себя в зеркало. Зрелище было... Нет слов! Я вынул из кармана айфон, сделал селфи, чтобы потом показать Варваре. Вот уж посмеемся. Но селфи получилось не очень удачное, потому что рука моя оказалась короче клюва.

Заседание высшего органа

Гул затих, я вышел на подмости. За неимением косяка ни к чему не прислонился. А вспоминать, что случилось на моем веку, сейчас было некогда, тем более что вспоминал уже по разным поводам. Было объявлено совместное, открытое при закрытых дверях заседание Государственной думы, Совета Федерации, Совета министров, Совета безопасности, Администрации президента. В зале на шесть тысяч мест кресел на всех не хватило, некоторые стояли в проходах, а наиболее мелкие особи, пытаясь показать, что они действительно перевоплотились, висели на люстрах. Сумевшие захватить кресла сидели, возложив тяжелые клювы на плечи впереди сидящих. Хуже других пришлось сидевшим в первом ряду. Они вынуждены были держать клювы на весу, что исключало возможность незаметно поспать. Стоит лишь задремать, и клюв немедленно опустится и уткнется где-то между коленями, а то и ударится в пол. Но, должен сказать, заседание наше было столь интересным и эмоционально насыщенным, что ни одному из присутствовавших не удалось заснуть.

Мое выступление объявил спикер Заморошкин. И не успел он договорить «слово предоставляется», как зал вскочил на ноги и разразился такими оглушительными аплодисментами, что стены дрогнули, люстры закачались, и один из висевших на самой большой из них сорвался вниз, но был ловко подхвачен службой охраны и благополучно вынесен из зала.

Мне и раньше приходилось выступать в сравнительно больших аудиториях и выслушивать одобрительные аплодисменты, но таких долгих и таких оглушительных — никогда. Уж я им махал руками, прижимал руки к груди, посылал воздушные поцелуи, показывая, как высоко ценю их страстную любовь ко мне, а они все хлопали и хлопали, особенно яростно стоявшие в первых рядах. Когда наконец последние хлопки стихли, я, поприветствовав всех, произнес речь:

— Уважаемые друзья, коллеги, братья по оружию!

Еще недавно, будучи простым литератором, я следил за вашей деятельностью только по телевизору и не мог понять ее смысла. Почему, думал я, вы, развив поистине бурную деятельность, производите так много законов, которые можно поделить на просто бессмысленные, на бессмысленно вредные, на осмысленно вредные и на идиотские. Изучая некоторые из них, я смеялся. Вникая в другие, пожимал плечами. Прочтя третьи, разводил руками, а от четвертых приходил в ужас и сильно

задумывался. Не зная вас лично, я пытался себе представить, кто эти люди, издающие такие законы. Первую мысль, что это просто дураки, я немедленно отбросил. Ну не может же быть, чтобы дураками могли оказаться люди, которых народ выбрал в качестве самых умных. Насколько мне известно, у вас у всех есть высшее образование, а то и два и три высших, а многие имеют кандидатские и докторские ученые степени. Правда, о вас ходят слухи, что чуть ли не все вы свои дипломы купили, диссертации списали, но ведь даже для того, чтобы списать диссертацию, необходимо хотя бы элементарное знание азбуки и какое-то прилежание. Поскольку представление о вас как о глупых и безграмотных я отвергал, у меня возникла вторая мысль, естественно, заменяющая первую. Я подумал: если это действительно люди умные и образованные, то значит, они издают законы с осознанной целью нанести стране, в которой живут, и народу, избравшему их, как можно больше вреда. Третья мысль привела меня в ужас: да что же я за человек? Как я мог такое подумать о лучших своих соотечественниках, с завидным энтузиазмом избранных всем народом. Неужели эти люди могут так ненавидеть страну, где они родились, которая их вырастила, воспитала и дала им все, что могла, с большими добавками? Неужели с таким презрением они относятся к своему электорату, доверившему им такие большие посты, зарплаты и привилегии? Нет, сказал я, устыдившись собственных мыслей и того, что мне в голову могли прийти столь ужасные подозрения. Тогда я еще раз крепко подумал, перебрал в уме все возможные ответы на свой вопрос, включая и тот, что вы все, как утверждает депутат Сидоров, являетесь тайными агентами американского госдепартамента...

— Неправда! — раздался в зале чей-то визгливый голос.

— Клевета! — поддержал его другой, басовитый. И эти два приглушенно произнесенных слова: «неправда» и «клевета» — прокатились по залу и стихли в задних рядах.

— А если неправда и клевета, — сказал я, выдержав паузу, — то что остается?

Я внимательно оглядел зал и увидел, что все эти пеликано-люди затаились, чувствуя, что сейчас последует разоблачение...

— Да, — сказал я, — вы угадали. Я проник в тайный ваш замысел. Вы очень умело ведете страну к революции.

— Нет! Нет! — послышались нестройные испуганные голоса из разных концов зала.

Я поднял руку и сказал:

— Ша, ребята! Пудрить мне мозги и вешать лапшу на уши не

советую. — Я выдержал долгую мучительную для них паузу и смотрел, как страх искажает их лица. — Тем более, — завершил я паузу, — что я с вашей идеей абсолютно согласен.

Вздых облегчения по залу, как легкий бриз с запахом перегара от коньяка, виски, джина, текилы и прочих хороших напитков, попавших под санкции.

— Я согласен с тем, — уточнил я, — что нашей стране, безусловно, нужна революция. Мы настолько погрязли в пьянстве, воровстве, лжи, лени и прочих гнусных пороках, что никакие отдельные реформы нас уже не спасут, а рассчитывать на двести-триста лет эволюции настоящие пеликаны, допускаю, что могут, но у меня на это жизни, увы, не хватит. Значит, я с вами согласен: нужна революция, и чем скорее, тем лучше. А как ее совершить? Мы же с вами не можем сделать это своими силами. Революции, как известно, совершаются возмущенными народными массами. А для того чтобы возмутить народные массы, заставить их ненавидеть своих правителей, надо их разбудить и открыть им глаза на все, что происходит, а затем сильно-сильно их всех обидеть, унижить, оскорбить, ущемить, ущучить и озлобить. Согласны?

Зал хором грянул:

— Согласны!

— Узнаю вас, ребята, соображающих на ходу, готовых всегда со всем согласиться. Это увеличивает наши шансы, поскольку наша сила в единстве. Но продолжу свою мысль. Революции, любые, кровавые или мирные, цветные, оранжевые, бархатные, ситцевые, суконные, замшевые и джинсовые, не могут быть произведены малыми группами людей. Малыми группами творятся перевороты, а революции всегда вершатся народом, который недоволен своим положением. К сожалению, нам достался народ, который всегда всем доволен, и добиться того, чтобы он стал недоволен, как вы видите сами, очень и очень трудно. Уж как вы ни стараетесь сделать ему плохо, он все равно доволен и голосует «за». В других странах причиной массового возмущения может стать повышение цен, попытка цензуры, несправедливость по отношению к одному человеку: осуждение невинного, политическое убийство или еще что-нибудь такое. Там из-за таких мелочей массы разгневанных людей бастуют или выражают свое недовольство в самых крайних формах. У нас так не получается, хотя мы с нашими людьми чего только не делали. Мы вели войны, где они гибли тысячами, мы убивали порой среди бела дня и вблизи кремлевских стен журналистов, политиков, депутатов. Только за последнее время, после захвата нами не нужной нам территории и начала одной войны, в которой

мы не участвуем, другой, в которой участвуем частично, и докатились до третьей, в которую залезли по уши. Мы достигли больших достижений по снижению курса нашей валюты, повышению цен, запрету иностранных продуктов и недостаточному производству собственных. Причиной революции могла бы стать коррупция. Уж по этой-то части мы добились головокружительных результатов. Если до сих пор не разворовали всю страну, то только потому, что у нас слишком много природных богатств: нефти, газа, золота, угля, дерева. Ну, не под силу нам все это одолеть сразу, не под силу, хоть и могуч наш народ и достаточно вороват. Хотя успехи есть, и серьезные. За короткий исторический срок мы догнали самые богатые страны по количеству миллиардеров и перегнали самые бедные по количеству нищих. Нельзя сказать, чтобы наши олигархи и чиновники уклонялись от исполнения своего гражданского долга. Они, желая вызвать раздражение у народа, охотно демонстрируют наворованные богатства, собственные футбольные клубы, острова, виллы, яхты, самолеты. Мы им, как можем, помогаем, распиливая бюджеты, беря взятки, тратя государственные деньги на строительство дворцов, стадионов, подводных лодок, авианосцев и прочих несъедобных вещей. Мы тщетно пытаемся разозлить население тем, что ездим с мигалками по встречной полосе, давим людей на пешеходных переходах и автобусных остановках и их же и обвиняем, что они не там стоят или ходят. Но они, наши замечательные сограждане, скромные и беззащитные, если остались случайно живы, то вместо того, чтобы возмутиться и выразить свой решительный протест, соглашаются: да, извините, говорят, мы не там стоим и не так ходим. И дают нам на выборах стабильно высокий процент голосов.

Коллеги! Лучший предлог для любой революции — это зависть и ненависть. Но все наши усилия вызвать эти черные чувства у нашего народа пока заметных результатов не дали, ибо он, наш великий народ, — в который раз повторю — чересчур добр, независтлив, ленив, неприхотлив и терпелив. Он терпел советскую власть, раскулачивание, тюрьмы, лагеря и колхозы. Сегодня терпит нищету, отвечая на все наши действия пьянством и мелким воровством. Ну, есть у нас эти, как их называют, оппозиционеры, ну, выходят они на свои митинги или шествия, ну, собирают сколько-то там своих единомышленников, и что? Они говорят: вот когда нас будет миллион... тогда... А что тогда? Вас миллион — и вы просто пройдете по улицам с белыми ленточками и милыми улыбками. Полиция вам улыбнется обратно, огреет дубинкой и запихнет в автозак. И никакого эффекта от этих хождений, кроме мусора, который убирать придется нежелательным нелегальным мигрантам, не будет. Короче говоря, только вы, депутаты, и

весь наш государственный аппарат пытаетесь обидеть народ, долго пытаетесь, но делаете это так вяло и неизобретательно, что народ ваших усилий просто не замечает. Поэтому я считаю, что выхода у нас нет, надо двигаться дальше. А прежде, чем двигаться, необходимо критически оценить наши предыдущие действия. Мы уже сделали народу много плохого. Но он стойко продолжает терпеть. Есть какие-нибудь предложения по выводу его из себя?

Тут стали вскакивать разные, предлагать, кому что пришло в голову. Повысить плату за ЖКХ вдвое. Пенсионный возраст увеличить, а пенсии уменьшить. Присоединить к России Белоруссию, Болгарию и Аляску. Запретить в стране хождение долларов, юаней и тугриков.

— Нет, — говорю, — это все не то. Территориальные приобретения людей всегда радуют, хотя непонятно, какая каждому из них от этого выгода. Доллары они попрячут, а тугриков у нас все равно нет.

Один ученый человек, доктор наук, списавший свою диссертацию у другого доктора, который списал ее у третьего, тот у четвертого, а там концы и вовсе теряются, предложил всех ученых, которые делают полезные для страны открытия — а пуще того, если пытаются довести их до производственного воплощения, — сурово наказывать, а если они печатались в зарубежных журналах и издавали собственные, ни у кого не списанные научные труды, считать их иностранными шпионами.

— А разве бывают шпионы не иностранные? — спросил с места кто-то картонноклювый.

— Бывают, — ответил я. — Если не верите, посмотрите в зеркало. Но вы, — обратился я к доктору, — опять предлагаете действовать против отдельных лиц.

— Да, конечно, — закивал доктор, — для начала следует вызвать возмущение хотя бы среди отдельных.

— А что толку? — возразил я. — Если бы эти отдельные выражали свое возмущение здесь, в России... А то ведь они бегут в Лондон или Париж и оттуда выражаются по Интернету. Нет, это, — говорю, — не дело. Надо вызвать недовольство не отдельных лиц, а всего народа, который весь в Лондон сбежать не может. Плохо, — говорю, — господа, работаете! Плохо, плохо и неэффективно.

— Но мы стараемся!

С места вскочил депутат по фамилии... забыл фамилию... и стал перечислять, как много всего сделано по части раздражения населения, и опять же привел в пример небольшие, но кровавые войны с одной соседней и одной несоседней республиками. Привел секретные сведения о

принудительной отправке на войну добровольцев и возвращении их на родину в качестве груза «двести». Была надежда, что хотя бы война вызовет возмущение, но она вызвала только большой патриотический подъем. Что еще?

Депутат Ромашкин доложил вкратце, что во время наводнения в одном южном городе было затоплено большое количество домов вместе с людьми. Выжившие были уверены, что наводнение произошло в результате умышленных действий местного губернатора, приказавшего во время сильного дождя, переполнившего здешнее водохранилище, открыть дамбу и спустить воду на этот маленький город, чтобы спасти большой город. Среди оставшихся в живых были сильные волнения и даже драки в очередях за гуманитарной помощью, но на результатах очередных выборов это никак не отразилось, и они опять подавляющим большинством голосов выбрали того же губернатора и всю его доблестную команду.

— Да что там говорить, — эмоционально воскликнул Ромашкин. — Что мы можем с этим народом делать, если он не реагирует на падение рубля, замораживание пенсий, отмену льгот и даже на уничтожение санкционных продуктов. Вы знаете, — горестно вздохнул он, — вместе с массой простого народа мне пришлось наблюдать за уничтожением швейцарского сыра. Эти люди такого сыра никогда раньше не видели, не пробовали и не знают, как вообще по-настоящему сыр производится, а теперь смотрели, как тонны его в красивых упаковках вываливали из самосвалов и затем давили бульдозерами и засыпали землей...

— И что же? — перебил я выступающего. — Неужели они не возмутились? Не бросились на бульдозеристов? Не попытались спасти ценный продукт от такого кощунственного, циничного уничтожения?

— Да что вы! Они стояли, смотрели и плакали. У них текли одновременно слезы и слюни, но потом они дружно пошли на избирательные участки и все как один проголосовали за правящую партию.

— А вы как на это реагировали? — допытывался я.

— Я испытал огромную гордость за наш народ. Я им восхищался. — С достоинством он и покинул трибуну.

Честно сказать, всеми этими докладами я был разочарован и удручен.

— Но неужели, — обратился я ко всему залу, — неужели в нашем народе не осталось ничего, что могло бы подвигнуть его не то что на революцию, но хотя бы на мирный общественный протест, на то, чтобы люди вышли на улицы, что-нибудь покричали, потребовали чего-нибудь от властей решительно и сурово? Неужели не было ни одного случая?

— Разрешите ответить, — поднял руку человек с сытым постным

лицом.

Я узнал нашего омбудсмана. Он напомнил мне об антисиротском законе, о том, какое он вызвал в нашем обществе недовольство. Всем запомнилось шествие озабоченных граждан с портретами самого омбудсмана и депутатов, принявших этот детолюбивый закон, с выбрасыванием портретов в конце шествия в мусор.

Я все это выслушал — и оценил:

— То, что было шествие озабоченных граждан, это хорошо, но недостаточно. Озабоченные — они всегда выходят и показывают свою озабоченность. Но чтобы выступление было по-настоящему массовым, необходимо озаботить и неозабоченных. А когда вышли одни озабоченные, до революции еще далеко.

— Да, но люди хорошо повеселились.

— Вот таким весельем все ваши дела и кончаются, — заметил я весьма огорченно. — А мне нужно такое веселье, которое называется революцией, и никак иначе. Чтобы не портреты ваши, а вас самих бросали в мусорный ящик, как в соседнем вражески настроенном братском государстве. Нет, ничего не скажу, вы, конечно, работаете, но вполсилы, и я подозреваю саботаж. Вы хотите народ обижать, раздражать, но в то же время надеетесь на его долготерпение и смирение. А действовать надо решительно. Вот вы, с красными ушами, вы что хорошего, в смысле плохого, сделали для Отечества? Что? Возглавляете Комиссию по противодействию попыткам искажения истории во вред России? Это у вас название неправильное. Противодействие — понятие оборонительное. А мы должны наступать. Поэтому предлагаю вашу Комиссию переименовать в Комитет содействия искажению истории в пользу России. Надо поправить кое-какие исторические даты. Например, тысяча девятьсот тридцать седьмой год из истории следует вычеркнуть и записать, что за тридцать шестым последовал сразу тридцать восьмой. В тридцать девятом Польша одновременно напала на два социалистических государства, Германию и Советский Союз. В сороковом польские офицеры, устыдившись агрессивной политики своего правительства, совершили массовое самоубийство в Катыни. Ленин (Ульянов) был немецким шпионом, а Сталин (Джугашвили) грузинским и действовал по указке Третьего отделения Его Величества канцелярии и грузинского диктатора Саакашвили. Он хотел отдать всю Россию Гитлеру в надежде, что немцы построят у нас социализм, но народ оказал этим планам сопротивление, и намерения двух вождей потерпели крушение под Сталинградом. Сталин был очень добрый человек, за что народ обожает его до сих пор. Но чтобы

побудить наш народ к революции, нужна не доброта, а зло, жестокость и несправедливость — особые, изобретательные, вызывающие в народе не страх или равнодушие, а широкое возмущение. Вот вы, в шестом ряду, толстяк с длинным клювом, что вы прячетесь за спину впереди сидящего? Встаньте! Вы кем работаете?

— Я-то? — переспросил длинноклювый, трясаясь от страха.

— Вы-то.

— Так я же этот...

— Не важно, этот или тот. Кто вы по должности?

— Так министр же.

— Министр чего?

— Министр по снабжению населения продовольствием.

— Ага, — говорю, — вот вы-то мне и нужны. И скажите, как вы снабжаете население?

Кажется, он пришел в себя и стал отвечать вразумительно.

— Хорошо, — говорит, — снабжаем. Все магазины полны продуктами, недорогими, вкусными, высококалорийными, импортозамещенными.

Это меня возмутило:

— Вот-вот... Поглядеть на вас — и сразу видно, что вкусными, высококалорийными. Вы сколько весите?

Он опять перепугался и стал дрожать, как будто состоял весь из желатинового желе.

— Да ладно, не тряситесь. Я вас расстреливать не собираюсь. Пока. Но я вот сейчас ехал по городу и вижу: люди ходят все сплошь тучные, с такими вот (я изобразил) животами, с одышкой...

Встал министр здравоохранения:

— Извините, ваше высоковеличество...

— Как-как вы меня назвали?

— Великовысочество, — поправился он.

— Вот этого не надо. Зовите меня просто Иван Иванович.

— Хорошо, Ваше Великовеличество, Иван Иванович. Мы населению регулярно все разъясняем. Боремся с лишним весом, рассказываем о вреде ожирения, наши врачи-диетологи ведут большую работу по пропаганде здорового образа жизни и умеренного питания. Внедряем в жизнь различные диеты.

— Пользы от ваших внедрений я никакой не вижу. Люди по-прежнему переедают, ходят упитанные, довольные жизнью. Таким не до революции.

— Да, — согласился министр, — к сожалению, значительная часть не реагирует на наши призывы.

— Надо не призывать, а действовать решительно. Референтам приказываю подготовить указ о введении с завтрашнего дня карточной системы. Ввести строгое рационирование. Каждому в соответствии с ростом и спецификой работы от восьмисот до тысячи калорий. Чтобы недовольство населения возникло, но не оказалось с самого начала слишком сильным и разрушительным, необходимо объяснять людям, что умеренное питание — в их же интересах. В связи с этим на всех упаковках с едой поместить предупреждения такого типа: «Излишнее питание вредит вашему здоровью». «Излишнее питание приводит к ожирению», «Избыточный вес является причиной инсультов, инфарктов и импотенции». Вопросы есть?

— Есть, если позволите...

— Ну?

— У меня, дорогой наш Иван Иванович, есть соображение, что можно обойтись без всяких карточек. В том смысле, что вообще прекратить продажу населению продуктов питания.

Я внимательно посмотрел на него.

— А вы, батюшка, я вижу, экстремист.

— Я? — переспросил «батюшка» и окаменел от страха.

— Ну а кто же вы, как не экстремист? Вы что, хотите людей голодом уморить? Но если у вас есть хоть пара извилин, должны же вы понимать, что голодный человек не способен на революцию. Голодный человек не способен на осмысленное восстание. Голодного человека легко подавить, ибо он голоден, он слаб, он не может сопротивляться, а тем более восставать. Запомните и запишите: для революции наиболее пригодны люди не голодные, а недоедающие. Занесите это в свои айфончики и отметьте, что копирайт мой. При перепечатке ссылка на первоисточник обязательна.

Во сне время течет иначе, нежели наяву. Где-то в статье о сне и сновидениях я вычитал такой пример. Спящему человеку на шею упала капля воды, и он тут же с криком проснулся. Но за мгновение между падением капли и пробуждением ему приснилось, что его арестовали, посадили в тюрьму, судили, приговорили к смертной казни, было долгое и мучительное прощание с родными, потом дорога к эшафоту в открытой телеге и другие подробности, потом гильотина, нож падает на шею — и человек в ужасе просыпается.

Вот и в моем, очевидно, сне (если я спал) время сильно растянулось. А к тому времени, когда я очередной раз проснулся, все население нашей страны поголовно, кроме отдельных особенно преданных государству

индивидуумов, было посажено на строгую диету. Все это, разумеется, сопровождалось пропагандой по телевидению и другим средствам массовой информации. Для того чтобы все-таки смягчить реакцию и вызвать революцию, какую-нибудь такую бархатную или суконную, или какую-то такую, в общем, не слишком жесткую, мы народ подготовили, чтобы он умеренно зверствовал, но не слишком, без перехлестов, чтобы была революция, а не бунт, бессмысленный и беспощадный, и потому провели большую работу, объяснили людям, что это для их же пользы, показали им по телевидению толстых американцев, которые объедаются гамбургерами и попкорном, предложили всем пользоваться широкой сетью диетического питания «Едим помалу», раскинутую по всей стране известными братьями-режиссерами. Короче говоря, народ немного пошумел-пошумел, но потом успокоился и в конце концов нашел удовольствие в неуклонном своем похудении. Была достигнута большая польза для народного хозяйства страны. Было сохранено огромное количество пищи и жизней животных: свиней и мясных коров. Значительная часть сэкономленного продовольствия была направлена на экспорт, что благотворно отразилось на государственном бюджете, увеличив личные доходы разворовавших его чиновников. Революционным настроениям обычно способствует контраст между доходами народных представителей и самим народом. Поэтому я увеличил втрое зарплаты депутатов и чиновников высшего ранга, а заодно освободил их от обязанности ношения клювов, чтобы в случае революции и необходимости скрыться они могли выдавать себя за простых людей. Последним указом они были недовольны, потому что быть похожими на простых людей, пока нет революции, не хотели.

Затем я предложил еще разные новшества.

Например, разрешить свободную продажу наркотиков и отменить возрастные ограничения для потребляющих алкоголь, имея в виду, что в состоянии наркотического или алкогольного опьянения народ бывает больше склонен к действиям разрушительного характера. Думая о привлечении к революционному протесту как можно больше народу, я не забыл о людях нетрадиционной сексуальной ориентации, среди которых оказалось очень много злых противников существующего строя. Чтобы разозлить их еще больше, уберечь от их влияния подрастающее поколение и направить их в традиционное русло, я издал указ о создании сети специальных кинотеатров, где детям, начиная с подросткового возраста, в воспитательных целях должны показывать порнографические фильмы, демонстрирующие все прелести традиционных сношений разнополых

партнеров.

Однако через короткое время мне пришлось признать, что все мои указы ни к чему не привели. Пришлось опять собирать государственных людей в одну кучу.

— Ну что, — говорю им, — ребята, что-то я не вижу никакой революции. Вы или просто небрежно работаете, или сознательно саботируете мои указания. Не знаю, куда смотрят наши силовые ведомства.

И прямо перед собой вижу: сидит такой полный, мордатый, явно никакой диеты не соблюдающий субъект в генерал-полицейской форме, щеки лежат на погонах, сколько там звезд, не видно. Однако сидит, слушает меня внимательно.

— Вы, — говорю, — дядя, кем будете?

— Разрешите доложить, министр внутренних дел Поплевкин.

— Отлично, Поплевкин. Вы-то.

— К вашим услугам, — говорит, — Ваше Вашество Иван Иванович. Прикажете арестовать Думу? — Он потянулся рукой к висящему на заднице пистолету.

— Хорошо бы, — остановил я его. — Но если всю Думу арестовать, народ будет так доволен, что никакой революции от него еще лет семьдесят не дожدهшься. А вот ваше ведомство — что оно сделало для того, чтобы вызвать народное недовольство?

Задумался.

— Вообще говоря, кое-что делаем... Есть достижения по части нарушения прав человека!

— Докладывайте какие. Гаишники взятки берут?

— Так точно, берут.

— Как раньше?

— Лучше.

— Лучше — это больше или меньше?

— Больше.

— А почему больше? Им же недавно зарплату повысили.

— Поэтому больше, ваше превосходительство. Ввиду повышения уровня своего благосостояния малыми взятками не желают мारаться.

— Так ведь наказания ужесточили.

— А это тоже причина. Наценка на риск. Потому что... ну как же... ну вот раньше было — дал водитель инспектору сто рублей, ну нет у него больше, ну, инспектор — он же тоже человек, войдет в положение, возьмет стольник, тоже пригодится, и никакого риска. А теперь все такие продвинутые, у них и видеорегистратор включен, и скрытые камеры где-

нибудь в пуговице, и купюры меченые... Э-э, теперь не то, что раньше, теперь...

— Значит, вот что, — прервал я его, — так больше продолжаться не может. Ситуацию со взятками следует переломить. Понятно?

— Так точно. Непонятно.

— Что вам непонятно?

— Непонятно, в какую сторону переломить. В сторону увеличения или уменьшения?

— В сторону обнуления. Полного. Чтобы никаких взяток не было вообще. Понятно?

— Так точно. Непонятно.

— Что вам не понятно?

— Я очень как бы извиняюсь, но я так понял, что ваша гениальная идея и наша скромная задача состоит в том, что мы должны вызвать недовольство народа, и поэтому я допускаю взятки в особо крупных размерах. Но если не брать взятки — это ж народ обрадует.

Я от души вздохнул, если можно так выразиться.

— Эх, — говорю, — вот что значит полицейский ум. Мыслите примитивно, в лоб, не разбираетесь в особой ментальности нашего народа. У нас народ не любит тех, кто взятки берет, но тех, кто не берет, ненавидит. Берущий, как и пьющий, — это свой, понятный русский человек. С ним можно договориться. А неберущий — зверь. Он и так зверь, а еще больше звереет от того, что не берет. Чем и вызывает народную ненависть... А что вы еще делаете, чтобы вызвать народную ненависть?

— Много чего. Вот насчет пьющих как раз... Не далее как вчера пьяный майор Жигалов на «Лексусе», который он купил на свою зарплату, задавил на автобусной остановке шесть человек. Что, мало?

— Да нет, для одного заезда неплохо. Это прямо как в боулинге, сбить сразу все шесть кеглей одним шаром. Неплохо. Главное, чтобы следователи потом доказали, что сбитые все шесть были пьяные и сами полезли под «Лексус». Ну-с... Еще какие наиболее оригинальные способы раздражения населения?

— Например?

— Производим незаконные задержания? Применяем недозволенные методы ведения дознания?

— Незаконные — это что? пытки, что ли?

— Так точно.

— Какие именно?

— Да самые, как говорится, стандартные.

— А конкретно?

— Конкретно бывают разные. Магазин, ласточка, звонок Перлигосу, свет в конце тоннеля...

— И как они выглядят?

— По-разному. Магазин — это когда вам... то есть не вам, а кому-то натягивают на голову полиэтиленовый пакет, и вы... то есть, извиняюсь, не вы, а он от удушья теряет сознание. Ласточка, когда руки сзади привязывают к ногам, звонок Перлигосу — это пытка током через старый телефонный аппарат, такой, знаете, с ручками. Его крутят, и чем быстрее, тем сильнее ток. Очень хорошо действует.

— Так, — сказал я. — И свет в конце тоннеля?

— Вот это самый надежный способ. Проктологический.

— Какой?

— Ну вот вы, допустим, задержанный, и вам, извиняюсь, в задний проходик... То есть, извиняюсь, не вам, а задержанному в зад всовывается какой-нибудь продолговатый предмет круглого сечения. Помните, в городе Казани, с целью получения от задержанного нужных признательных показаний, в задний проход была введена бутылка из-под шампанского, отчего он скончался.

— И это, — предположил я в вопросительной форме, — конечно, вызвало возмущение широких народных масс?

— К сожалению, нет, — вздохнул министр, — возмущался только, пока был жив, сам испытуемый. Но вскоре не выдержал такого, как он выразился, издевательства и умер с целью нанесения вреда имиджу нашей полиции.

— То, что умер, это нехорошо. Нам нужны граждане не мертвые, а живые, возмущенные, охваченные революционным порывом. Были еще подобные инциденты?

— Были, но не с бутылкой, а с черенком лопаты. Пять лет назад в Томске один сержант, будучи сильно огорчен размолвкой с супругой, ввел привязанному к топчану местному журналисту в то же место черенок от штыковой лопаты.

— И что же?

— К сожалению, испытуемый также скончался.

— И Томске не было массового восстания?

— Было, ваше высокородие. Человек пятнадцать, не меньше, родственники и коллеги пострадавшего выразили решительный протест, требовали тщательного расследования.

— Вот что, министр. Вашу работу я признаю неудовлетворительной.

Ну что сделал этот ваш полицейский? И человека зазря угробил, и протеста настоящего не вызвал.

— Извините, Ваше Великовеличество, позвольте выразить мнение. Дело не в полиции. Мы стараемся, но народ — никак он не хочет протестовать за кого-то. Наши люди способны бороться только каждый сам за себя, да и то...

Я выдержал паузу, подумал немного, и меня осенила блестящая идея.

— Что ж, — сказал я, — если мы не можем достичь массового недовольства путем работы с индивидуумами, то надо подумать, как через задний проход дойти до сознания каждого гражданина. Как, министр, думаете это возможно?

Я видел, как у министра заблестели глаза, когда в мозгу его начала проворачиваться операция: закупить сто сорок миллионов бутылок французского шампанского, содержимое продать на разлив, а пустые бутылки...

— Нет, — прервал я его размышления, — закупать шампанское не будем. А вот черенки...

Я нашел глазами министра лесной и деревообрабатывающей промышленности, вижу, и у него глаз загорелся, а в уме запрыгали цифры. Он уже представил себе, как выставит государству счет. Поскольку в рублях он считать не привык, он мысленно оценил черенки по двадцать долларов за штуку. Если получить двадцать долларов за штуку, а потратить два и умножить разницу в восемнадцать долларов на сто сорок шесть миллионов... — и он представил себе виллу в Майами с бассейном, с «Кадиллаком» в гараже, вертолетом на крыше и яхтой длиной метров сто семьдесят у собственного причала. В этот момент он встретился взглядом со мной, и вилла в его воображении уменьшилась до размеров большой квартиры, «Кадиллак» в гараже остался, яхту заменил четырехместный катер, а вертолет с крыши сдуло ветром. Министр напрягся, чтобы прочитать мои возможные мысли по этому поводу, и вместо квартиры в Майами разглядел СИЗО в Лефортове, камеру, полную уголовников, и свое место на полу у параша.

Тут я вовсе опустил его на землю, телепатически сообщив, что камеры в СИЗО он может избежать: если заранее согласится, что простой черенок при массовом производстве никак не может стоить больше полутора долларов, каковые и будут немедленно перечислены на счет министерства.

Великая черенковая революция

Как уже выше сказано, во сне события иногда развиваются гораздо быстрее, чем наяву. Наяву депутаты еще долго бы чикались, спорили, приводили бы доводы «за» и «против», утрясали бы в профильных комитетах, а тут приняли сразу во всех трех чтениях, и я, чтобы не откладывать дело до следующего сна или до следующей потери сознания, подписал соответствующий указ. Было сказано, что всеобщая черенковизация всего взрослого населения будет производиться в специализированных медицинских учреждениях опытными специалистами (врачами и полицейскими) под местным наркозом и с применением вазелина. Вазелин для того, чтобы пациенты оставались живыми и способными на сильное возмущение. Мертвые, как известно, на возмущение не способны. Я сразу дополнил указ предостережением о возможных санкциях против граждан, которые попытаются уклониться. Было указано, что лицам, не имеющим справки о прохождении черенковизации, не будут выдаваться зарплаты, их счета в банках будут заморожены и выезд за границу закрыт. Я предусмотрел и возможность поощрения: первому миллиону прошедших процедуру пообещал бесплатно по бутылке водки и баночке гусиной печени — фуа гра от отечественного производителя. После чего состоялось широкое обсуждение предлагаемой меры по всем каналам телевидения. Я предполагал, что сама мера может показаться людям настолько дикой и оскорбительной, что они, наконец возмущенные до глубины души, восстанут и совершат революцию, не дожидаясь намеченной экзекуции. Но чтобы волна народного гнева не оказалось слишком уж неуправляемой, я попросил наших наиболее популярных телеведущих Кислова, Индюшкина и Головастика провести несколько ток-шоу, участники которых выступили бы «за» и «против» всеобщей черенковизации, и чтобы те, которые «за», победили, но с не слишком большим перевесом. Однако я недооценил таланты этих замечательных журналистов. Они провели свои передачи с таким блеском, что подавляющее большинство, восемьдесят девять с половиной процентов граждан нашей Федерации, согласились с тем, что черенковизация крайне необходима, проводится для их же пользы и для полного замешательства, которое непременно испытают Пентагон, НАТО, Барак Обама и Ангела Меркель. Черенки, введенные под наблюдением врачей и с применением вазелина, будут способствовать выпрямлению позвоночника каждого

подвергнутого этой уникальной процедуре.

Откровенно говоря, результаты проведенных опросов меня удивили и огорчили, но я успокоил себя тем, что люди привыкли одобрять все решения высшего руководства, но, когда дойдет до дела, уж тогда-то возмущение широких народных масс будет мне обеспечено.

Когда-то, будучи еще ребенком, я, воспитанный в духе своего времени, очень жалел, что слишком поздно родился и не мог стать участником или хотя бы свидетелем Великой Октябрьской социалистической революции. Но теперь-то я был уверен, что уж Великая Черенковая революция от меня никуда не уйдет. Будет что рассказать детям и внукам, если останусь жив. Я не сомневался, что наш великий свободолюбивый и терпеливый народ-налогоплательщик не вынесет приготовленного ему унижения и в порыве праведного гнева снесет ненавистный режим. Снесет, к сожалению, вместе со мной, но что делать?

В далекой юности, когда мой мозг был еще мягким, а сознание романтическим, я, помнится, мечтал еще и о том, чтобы погибнуть за Родину, за какие-нибудь высокие идеалы на каких-нибудь баррикадах с каким-нибудь... нет, не с каким-нибудь, а с красным знаменем, высоко поднятым над головой. Я и сейчас в принципе готов был погибнуть, если очень нужно, но вдруг усомнился, а нужно ли? А как уберечься от народного гнева? Память подсказала исторический пример: премьер-министр Керенский бежал когда-то от большевиков, переодевшись в женское.

— Зинуля, — спросил я фельдшерицу. — У вас, случайно, нет ли с собой лишнего платья?

— Зачем? — спросила она.

— Да так, я, видите ли, в некотором смысле трансвестит.

— Что? — удивилась Зинуля. — Кто свистит?

Повернулась к Варваре. Варвара ко мне:

— Петь, ты что, опять бредишь?

Я ничего не ответил, но, услышав снаружи какой-то шум, повернулся к окну и увидел огромные толпы народа, которые с факелами, разноцветными флагами, транспарантами и чьими-то портретами, как стадо диких животных, неслись в сторону центра. Вот она, революция, все сметающая на своем пути, которая так часто виделась мне в моих извращенных мечтаниях!

— Это не революция, — разочаровал меня появившийся неизвестно откуда Иван Иванович.

— Вы опять здесь? — удивился я.

— Я все время с вами, — ответил он почему-то грустно. — И всегда буду с вами.

— Вы как клещ, — вздохнул я.

— Я, может быть, и клещ, — отвечал он, — но это не революция.

— А что же это?

— Всмотритесь сами.

— Я всмотрелся и увидел, что возглавляют толпу, представьте себе, Семигудиллов и моя домработница Шура. Они с вдохновенными лицами идут впереди, растянув длинный, во всю ширину колонны транспарант, на котором славянской вязью начертано: «Ударим черенком по тщетным надеждам НАТО!» Другие несли висящие на груди транспаранты и плакаты со всякими портретами, рисунками, карикатурами и текстами против санкций, однополых браков и продвижения на восток блока НАТО. «Да здравствует Всеобщая Черенковизация!» — вот был основной лозунг идущих вместе. Рисунок в виде бойца Гражданской войны с указующим пальцем: «А ты прошел «Поголовную Черенковизацию?» «Поголовная Черенковизация — наш ответ европейским санкциям». На несоответствие надписи сути процедуры обратила внимание Зинуля.

— Почему Черенковизация поголовная? — спросила она меня. — Черенки же не в голову забивают.

Я согласился с ней, что слово «поголовная», но усомнился, что Роскомнадзор пропустит определение, предложенное Зинулей.

Голова колонны ушла сильно вперед, хвост оставался далеко позади. Мы двигались параллельно колонне, и, высунувшись в окно, я успел пообщаться с некоторыми из бегущих. Я спрашивал их, действительно ли они сознательно и добровольно готовы подвергнуться черенкованию и не вызывает ли у них предстоящая унижительная процедура протеста. Никто из них меня, к счастью, не узнал, все отвечали на первую часть вопроса утвердительно, а на вторую отрицательно. Да, сказали они, мы готовы ответить на западные санкции и продвижение НАТО на восток даже и таким, как выразился один политически подкованный гражданин, асимметричным способом. Ничего унижительного в процедуре они не находят. Надо так надо. Я спрашивал других, что, может быть, им будет больно и не совсем удобно ходить и сидеть, имея в себе столь необычный посторонний предмет. Ничего, отвечали люди, наши дедушки и бабушки пережили войну, блокаду Ленинграда, перестройку, приватизацию, залоговые аукционы, санкции и антисанкции, а уж ради укрепления стабильности мы готовы на что угодно. Некоторые, впрочем, признавались, что их влечет исключительно меркантильный интерес, то есть халява в

виде водки и фуа гра местного производства.

Между тем мы приближались к пункту назначения. Пересекли проспект Сахарова, Сухаревскую площадь, завернули на проспект Мира, продвинулись по Грохольскому переулку и въехали, наконец, вместе с очередью во двор «Склифа».

Паша остановил машину, я вышел наружу, глотнул свежего воздуха, потянулся и задумался, как же мне попасть в приемный покой больницы. Очередь втекала в стеклянную дверь, открытую только наполовину, и заворачивала в коридор направо. Что мне было делать? Искать хвост очереди, который, как мне сказали, в данный момент находился где-то в районе Капотни, было бы слишком. Тем более, Паша сказал, что его смена заканчивается и он отсюда поедет прямо в гараж, но по дороге немножко еще побомбит. Я попробовал просунуться в стеклянную дверь впереди других, но бдительные граждане меня остановили:

— Эй, дедуля, куда прешь без очереди?! — закричали сразу несколько голосов. Я смутился, остановился:

— Извините, — говорю, — господа, но у меня срочный случай.

— У всех срочный случай, — возразила пожилая женщина под зонтом, хотя дождем и не пахло.

— Случай срочный, а очередь общая, — назидательно заметил худой мужчина в темном пальто и темной же шляпе.

— Но я с клещом, — попытался я объяснить.

— А тех, которые с клещом, — заметил мужчина, — мы просто уничтожаем.

Я увидел у него в руках пистолет и напрягся.

— Ну, что, — криво усмехнулся мужчина, — приехали?

— Приехали, — ответил он Пашиным голосом, и я в очередной раз проснулся.

— Петр Ильич, поторопитесь, — засуетилась Зинуля, — мы уже вышли из графика.

— Петя, не спеши, — остерегла меня Варвара и, выскочив из машины, подала мне руку.

Я вышел, огляделся и увидел, что мы стоим перед стеклянной дверью, в которую только что ломилась очередь граждан, готовых к черенкованию. Но теперь никакой очереди не было. Куда она делась? Я хотел спросить об этом Варвару, но, с трудом сообразив, что, очевидно, у меня было очередное видение, промолчал. В дверях, обе половинки которых, кстати, были распахнуты настежь, курили мужчина и женщина, оба лет сорока, в зеленых робах, я подумал — маляры. Они удивленно на нас посмотрели, и

мужчина спросил:

— А у вас что?

Я подумал: маляр не маляр, но раз интересуется, отвечу. И сказал, как есть, что был в лесу, подхватил клеща... Он не стал интересоваться подробностями и перебил:

— Из какого района?

Я начал:

— Я из...

Он опять не дал договорить:

— Не вы, а клещ из какого района?

Я сказал:

— Точно не знаю, но, по-моему, из Наро-Фоминского.

— Тогда зря приехали, — сказала женщина и, бросив окурок под ноги, затоптала.

А напарник ее объяснил: энцефалитные клещи на юге области не водятся. Они попадают только в северных районах — Талдомском и Дмитровском, а на юге и юго-западе клещи есть, но вполне безобидные. Из их объяснений я понял, что они не маляры, а врачи, и спросил, что же мне все-таки делать с моим безобидным клещом.

— Ничего, — пожал плечами врач. — Сдохнет, загноится и вместе с гноем выйдет.

Мне стало обидно: сюда с такими переживаниями, видениями и приключениями! — а дело, оказывается, проще можно представить. Я повернулся к Зинуле, хотел ее обругать за то, что она меня сюда привезла, но она уже куда-то исчезла.

— А все-таки, — сказал я, — раз уж меня сюда привезли, может быть, вы этого клеща как-нибудь вынете?

— Можем и вынуть, — небрежно ответил врач и, заплевав окурок, бросил его в угол. — Идемте в процедурную, — пригласил он, и они оба двинулись по коридору, а мы с Варварой поплелись следом. Вошли в процедурную, где он сел за стол и стал листать какую-то тетрадь, а она попросила меня поднять рубашку, бегло взглянула и выковыряла насекомое каким-то инструментом вроде вязальной спицы, даже и не подумав ее как-то стерилизовать. Место, где теперь уже не сидел клещ, небрежно мазнула зеленкой и обыденно попрощалась:

— Все! Будьте здоровы.

Когда мы с Варварой покидали клинику, уже светало. Я испытывал двойственное чувство. Мне было неловко перед врачами, что я приехал с такой ерундой на «Скорой помощи», которая могла бы везти кого-то, кто в

этом реально нуждался. Естественно, я злился на эту дуру Зинулю, которая запугала меня и заставила предпринять это дурацкое путешествие. Но, конечно, я был и рад тому, что освободился от той тревоги, которую так или иначе испытывал по пути в «Склиф».

Врачи оказались к нам очень любезны и даже предложили машину для поездки обратно, но мы решили добираться своим ходом и сначала пошли пешком. Выбрались на Сухаревку, и там по Садовому кольцу бодро зашагали в сторону Красных Ворот.

Был чудесный рассвет бабьего лета. Солнце не вышло еще из-за домов, но лучи его уже позолотили шпили высоток и купола церквей. Держа жену за руку, я шел навстречу восходящему солнцу и улыбался. Почему-то вспоминалась строка из песни: «Холодок бежит за ворот...» А навстречу мне и попутно со мной двигалось огромное количество людей, молодых, свежих, полных сил, жизнерадостных и улыбающихся так же, как я. Они шли, каждый по своим делам, расправив плечи и выпрямив спины. У них была такая стать, как будто у всех у них изнутри их осанку держал какой-то невидимый стержень. Я чувствовал себя счастливым человеком, может быть, оттого, что мой клещ оказался не энцефалитным, и оттого, что вообще его больше нет. А впрочем, дело было даже не в клеще, а в тех фантастических видениях, косвенной причиной которых он был. Видениях, которые терзали меня всю ночь, в тех снах, которые мне приснились, в том бреде, который прибрелся, и в той реальности, что путалась между бредом и сном. Я шел и думал, какая странная вещь человеческое сознание, какие только картины его не посещают. Они бывают настолько осязаемы физически, что даже совсем нормальному человеку, без каких бы то ни было психических отклонений, бывает трудно и почти невозможно отличить то, что приснилось, привиделось, вообразилось, от того, что было на самом деле.

Мои размышления были неожиданно прерваны тем, что я услышал сверху какой-то стрекот. Я запрокинул голову и увидел, что в бледном рассветном небе, прямо надо мной, вытянув длинный клюв и лениво взмахивая крыльями, держал курс на восток крупный малиновый пеликан, сопровождаемый по бокам двумя вертолетами «Ка-52» Военно-воздушных сил Российской Федерации. А сзади кильватерной колонной, не сильно отставая один от другого, тянулись вертолеты охраны, санитарный, ветеринарный и инкассаторский.